

Мих было пропасть, десять или, может, тысяча, целое гнездо их было; он ринулся к ним сквозь лопухи, быстро подставил подол рубашки и начал ловко наполнять его грязно-белыми коробочками, только слюнки текли по губам. Взглянув украдкой по сторонам, он заметил хохотавшую тетку, чертова беззубая старуха, выпрыгнул из лопухов и погнался что было духу. Продрался сквозь чертополох, пролетел через заросли крапивы, помчал навстречу колючим искоркам в маминых глазах; она отчитывает его, руки к груди прижмет — да что ж из тебя, парень, вырастет-то! — но обратно с добычей не отправит, надкусит маковую головку, словно яблоко чужое, вылушит весь мак, правда, за уши сына все-таки отдерет, а потом уж замесит тесто для сладкой лапши. Он представил себе полную тарелку толстой, желтой, скользкой лапши, посыпанной маком, споткнувшись, стремительно полетел вниз и, думая только о своей ноше, уткнулся носом в землю. Пронзительный смех, преследовавший по пятам, догнал его, и в это мгновение сладкий запах крови растворился в ужасном смраде.

Михал проехался рукой под носом и, еще не придя в себя, облилизнул губы. Не хватало только заснуть с отбойным молотком в руках, подумал он сердито, тоже женушка на мою голову. Он с силой отер ладонью лицо. Секундный провал в памяти оставил после себя привкус мучительного воспоминания, пыль до боли въелась в ноздри, драла горло. Глотнуть бы, да нечего, убить эту чертовку мало.

Каждый из ребят дал бы ему хлебнуть, но не было никакой охоты выслушивать их шуточки, мол, чашку черной бурды — и ту тебе не сварит за твои ночные старания, можно себе представить, во что обошлась бы ему такая просьба.

Снова облизнув пересохшие губы, он установил молоток. Внутри все кипело от бешенства. Нервотрепка сегодня началась с самого утра: будильник он проспал, а всего-то раз уснули поздно, когда спохватился, как назло, ничего на месте не было.

Даже не умывшись, Михал налил в кофейник горячей воды. Выпукл с кофе как сквозь землю провалилась.

— Вера!

Из-под одеяла торчала прядка волос.

— Верка! Слышь, Вер, где кофе?

Прядка шевельнулась и скрылась.

— Вера, черт подери, ты кофе купила?

Закипая, он сдернул одеяло.

— Кофе? А-а, кофе!

Она даже глаз не открыла, лишь отвернула от света безмятежное лицо.

Да что б их, этих баб!

Михал грохнул дверь. Вода выплеснулась через край и залила газ. Он настезь распахнул окно, пусть себе мерзнет, дура. Натянул брюки, вцепился зубами во вчерашнюю булку. С улицы в окно ползли клубы сырого тумана. Он надел пиджак и босой влетел в спальню.

— Ну что тебе, медвежонок? — пробормотала Вера.

Задушить ее мало, ей-богу! На шахтный автобус он опоздал, а времени было в обрез. Михал сел в машину, рывком включил мотор.

Успокоиться не мог никак: стоило только вспомнить, как Вера, развалившись на кровати, бормотала, а-а, кофе, ну да, и эти, носки... откуда я знаю, как он снова закипал. Вокруг стоял грохот. Уголь отваливался большими кусками.

Насев на Зденека сзади, Михал сердито затормозил его, крича в самое ухо: опять отстаешь, опять завяз, сачок несчастный. Когда он замолк, гнетущая тишина заложила уши, злость, наконец, выкипела, по всему телу растеклась усталость.

— Ты что, рехнулся? Тебя Стшалка зовет.

Михал, пятясь, выбрался к бригадиру.

— Ну что тебе? Что опять не так?

Ярек Стшалка виновато улыбнулся. Он был из тех, кто сам мог вкалывать от зари до зари, но приказывать другим... Слова застревали в горле, их хватало на робкую просьбу:

— Ты особенно не расходишься...

Старик Пёнтек сощурил веки. Из узких щелок блестели угольки насмешливых глаз.

— Лошадь и на ходу дерьмо роняет, — съязвил он. Какое-то мгновение они молча стояли друг против друга, один молодой, рослый, другой — щуплый, кожа да кости. Пёнтек и в каске-то был Михалу по пояс, но не сробел. Пожевав табак за одной щекой, потом за другой, он сплюнул прямо на сапог Михалу.

— Посерьдон!

Михал отвернулся. Сил нет, до чего надоел дед с его желтыми слюнями и ехидными словечками, которыми он поминутно перчил каждого. Пашешь с нами — ну и паши себе, другим не мешай, чертов мозгляк!

— Ох и трёпу — а делов-то на грош, — набросился на деда Пицмаус. — Зденек вон, правильно, стоит себе и в ус не дует.

Михал нахмурился: только такого заступника ему не хватало. Сунуть бы его в завал подальше, чтоб не путался под ногами.

— Тебя не спрашивают, — осадил он Пицмауса и откашлялся. Ну нет, лучше сдохнуть от жажды, чем на язык им попасться, рука невольно потянулась к сведенному сухохотой горлу.

— На, глотни-ка! — Зденда подал фляжку. На девчачьих ресницах лежала угольная пыль, из-под каски выбивались кудри. Было в смазливой мордашке что-то порочное.

Михал сразу почувствовал, что черный кофе хорошо одобрен ромом, но не смог оторваться и, только заметив плутоватую улыбку Зденека, вспомнил о машине.

— Дурак, — буркнул он вместо благодарности. Запах настойчиво вызывал в памяти картины странного сна. — Эй, мне кажется или действительно пахнет? — спросил он неуверенно.

— Кто отозвался, тот и... — ухмыльнулся Зденек, — так что уж молчи.

— Кончайте друг друга шпынять, кому это надо? — Стшалка, как всегда, скорее просил, чем приказывал, презирая себя за свой заискивающий тон. — Ясно, всем невмоготу, но мы же не рекорды собираемся ставить. Зденда, отбивай осторожно, Пицмаус тебе поможет, главное, осторожно, ребята.

— Боже ж ты мой, сил никаких нет! — завопил Пицмаус. — Как вербовать — так горы золотые сулят, а сами тут сопли развозят: «Тихо!», «Осторожно!», «Подожди», «Стой!», «Штрек почисти!». Да вы поглядите: угля-то с утра — ведро!

Малыш Йожин, не выдержав, прыснул и невольно повернулся к старому Пёнтеку. В такие моменты мнение Стшалки никого не интересовало: все ждали, какой ехидной шуткой сплюнет на этот раз дед.

Пицмаус с его бестолковым рвением за несколько дней и вправду всем осточертел. За все он принимался с жаром, и все шло насмарку: была причина беспокоиться, что при

своей исключительной ловкости он как-нибудь сломает палец, ковыряя в носу.

Но старый Пёнтек надежд не оправдал. Казалось, он вообще пропустил мимо ушей последнюю тираду, не видел выжидающих лиц, он стоял, сгорбившись, с полуоткрытым ртом и сощуренными глазами, словно погруженный в другой мир. И лишь когда бригадир тронул его за рукав, он издрогнул, помял свой крупный пористый нос.

— Пройдем нарушение — там и догоним. — Стшалка по-своему пытался утихомирить страсти. — Сами слышали инспектора, положено бурить разведочные скважины, я тут ни при чем. Еще метров на двести тянутся старые выработки, а много ли с них проку, ты у стариков спроси.

— Хватит меня учить! — взорвался Пицмаус. — И так ученый. Я где только не ишачил, вы и о местах-то таких не слышали. И везде инструкции, инструкции! Да чихать и на них хотел!

Ярек Стшалка втянул голову в плечи. Каким же одиноким он себя чувствовал! Сейчас бы в руки отбойный молоток или лопату, и ругаться вместе со всеми, а не уговаривать их, чего-чего, а этого он до смерти не любил. Точно вспоминать, как пришлось агитировать людей — в эту дыру никто не шел. Расхлебываться пришлось его бригаде только потому, что Стшалка не умел ни возражать, ни настаивать на своем.

— Ну-ну, попробуй, чихни. Духу твоего здесь не будет, — усмехнулся Михал и встал рядом с бригадиром, словно хотел его защитить. — Бабки что, одному тебе нужны! Но ведь и здесь кто-то горбатиться должен.

Михал сам удивился собственным словам, его тоже было, что им достался именно этот участок, хотя все остальные давно работали на комбайнах. Но со Стшалкой они трубили с самого начала, и он не собирался давить бригадира в обиду жалкому Кышмышке, как провалили они новичка Пицмауса за его вечно испуганный вид.

— Не всегда же так будет, кровля поджимает, значит, скоро все пойдет, как надо, мое слово.

— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, — очнулся Пёнтек, — обещать-то погоди, губошлеп!

— А ну вас к черту! — рявкнул Пицмаус. — Да что б я такими мастерами еще раз пошел? Пусть хоть к министру вызывают!

— Баба с возу... — неожиданно отозвался Выметал, обогнув фразу пронзительным звуком перфоратора.

«Вот таких бы мне парней побольше,— подумал Стшалка,— насколько все было бы проще». Ему вдруг стало ясно, что даже самые настырные уговоры ни к чему. Людям надо дать работу, поставить в нужную минуту на нужное место. Но он сознавал, что ему это не под силу.

— Наплюй ты на Кышмышку,— проорал ему в ухо Михал,— и на деда тоже. Небось, своя голова на плечах есть.

— Давай вместо меня бригадиром, а?

— Всю жизнь мечтал!— Михал дружески хлопнул Стшалку по плечу так, что тот еле устоял. Легкий запах рома насторожил бригадира:

— Миш, что ты пил?

— Кофе.— На черном лице сверкнули крепкие белые зубы.

— Зденек, алкаш этот, конечно, дал. Сам-то он вроде ничего, работает.

— Ага. До следующего загула.

Стшалка не ответил. Минутной уверенности, поддержанной дружеским словом, силы, которую придала ему рука Михала, как не бывало. На черта сдалось мне это бригадирство? А попробуй скажи что-нибудь. Твоя, мол, партийная обязанность. И все, и не отвертись.

— Михал, поди сюда.

Малыш Йожка никак не мог привыкнуть к пражскому выговору Зденека и тут же передразнил его нараспев: «Па-ади сюда, па-адишь!»

Пёнтек осадил его выразительным взглядом. Мохнатые брови придавали старику угрожающий вид. Йожка тихо отступил, ему стало не по себе.

Пицмаус демонстративно развернул «тормозок». На бумажке обозначил дольки, чтобы не откусывать слишком больших кусков. Но тонкий ломтик сала, выскользнув из плотно сжатых краях, застрял в зубах. Как последний сквалыга, вытащил он нож, отрезал сало у самых губ и вложил его обратно между двух кусков хлеба.

Напарники пренебрежительно отвернулись. Только Выметалу было все равно, перфоратор так и гремел у него в руках.

Зденек осветил забой. По блестящей стене выгибался тоненький ручеек.

— Слышь, ты такое когда-нибудь видел?

Михал пожал плечами. В воде и раньше приходилось работать, но здесь ее никто не ждал.

— А я испугался, что Шубину невтерпеж.

— Поди Пёнтеку доложи — давно ты ему на язык не попадаешься.

— Не пойму, кто тут бригадир. Стшалка твой без него ни бе, ни ме.

Под ногами уже хлюпало.

— И все-таки, кажется, тухлятиной пахнет. Может, газ?

Михал засмеялся:

— Ишь, разволновался. Ты уже остыть успеешь, а газа так и не учуешь. Специалисты! Молчал бы, хватит с нас одного Кышмышки.

Руки Зденека сжали черенок лопаты.

— Да ладно тебе, пойду бригадирю скажу.

По дороге Михал зевнул. Навалилась усталость, теперь ему было все равно. Хоть бы на минуту пристроиться в уголке и вздремнуть.

— Что случилось? — Стшалка насторожился.— Вид у тебя дохлый.

Михал набрал побольше воздуха:

— Вонь там стоит, как в завале. И вода.

— Вода?

Оставшись один, Михал сел, прислонясь головой к стойке. Вдруг его охватил бессмысленный, беспричинный страх. Ладони стали влажными.

— Кончай работу,— бросил Пёнтек.— Отбой,— противно засмеялся он, будто заквакал.

— Пусть начальство решает. Йожка, смотай на четвертый горизонт, нет ли там кого-нибудь с вентиляции. Скажи, у нас тут вода вонючая. Они за это деньги получают. Давай гони!

Йожин только кивнул и побежал. Чтобы не выдать своей беспомощности, Стшалка достал из кармана леденец. Наверняка ерунда какая-нибудь, вот и раззвонят, хорошо бригадир, чуть кто чихнет — инженера ему подавай. Ну и пусть. В конце концов, ничего ему не грозит, лопату никто не отнимет, а что командовать не умеет, так он и сам это сколько раз говорил.

— Эрих, кончай!

Выметал, ничего не слыша, упирал пику в пропласток.

Стшалка поднял руку, но остановить его не решился, взглянул на Михала — тот сидел с закрытыми глазами. Его безучастность Ярек расценил как предательство.

— Найдет он инженера, бедолага этот? Небось, инженеров в жизни не видел,— как всегда, съехидничал Пёнтек.

— Дед прав,— поддакнул Роглена,— лучше позвонить машинисту, а он — диспетчеру, иначе загорать нам до конца смены.

— Обойдется. Иожка малый проворный.

— Я сбегаю,— предложил Зденек,— скажу им пару ласковых.

Он ухмыльнулся, покосившись на дремавшего Михала, и, не дожидаясь ответа, побежал к телефону. Споткнувшись по дороге, покачал светом.

— Сопляк и пижон вонючий,— не удержался Роглена.— Ну и бригадку набрали.

— Все бы ничего,— вздохнул бригадир,— участок больно паршивый.

Никто и не заметил, что Пидмаус остался в забое. Артисты, бурчал он про себя, поезд остановят из-за пятака на рельсах. В Кладно воды было по колено, и никто даже слова не сказал. Ноги только прели да сыпь шла сплошным.

Пласт блестел. Одной рукой Пидмаус подсвечивал, другой отковыривал уголь вокруг ручейка. Струйка, все такая же тонкая, послушно сбегала на почву. Он ткнул лопатой и тут же выронил ее — прямо в лицо, вылетев, как из бутылки, ударил зловонный фонтан.

— Там какой-то канал! — ужаснулся Кышмышка и бросился прочь, на бегу вытираясь рукавом. Вид у него был и впрямь как у мокрого, напуганного мышонка, но никто даже не улыбнулся.

— Самоспасатели! — сработало у Стшалки, — самоспасатели у всех есть? — Он знал, что во время работы их цепляли куда попало. — Надеть самоспасатели! — кричал он, тормоша Выметала. — И все бегом в клеть! Быстро!

Нерешительности как не бывало. Поток воды чуть не сбил его с ног, но Стшалка удержался, дожидаясь, пока остальные переберутся в безопасное место. Выметал невозмутимо вырубил перфоратор, и бригадиру отчасти передалось его спокойствие. Михал, наконец, очнулся и встал рядом с Яреком, но тот подтолкнул его:

— Беги! Мы последние.

Михал в несколько прыжков догнал Пентека и подхватил его на руки. Старик, ругнувшись для виду, тут же подчинился и утих. Только из легких, забитых угольной пылью, вырывалось трудное, свистящее дыхание.

Михал сжал его крепче и прибавил ходу. Поток догнал их. Вода быстро прибывала.

Низкое зимнее солнце выбелило желтые занавески, пройдя через узкую щель, золотой чертой перерезало висящую на стене картину.

Вера сладко потянулась. Глядя на полоску солнца, нащупала будильник. Полдесятого. Хотела вскочить с кровати, но тут же передумала, на семинар все равно уже поздно.

Ей было жарко, она высунула ноги из-под одеяла. Солнце унало на руку, блеснул коралловый лак. Вера встрепнулась, стала подставлять лучику оля палец за другим, довольная своим вкусом: ей пришлось долго подбирать лак в тон помаде — не какого-нибудь там кроваво-красного, а именно этого изысканного цвета.

Вдоволь налюбовавшись ногами, подставила солнцу всю руку, бриллиант свадебного колечка отразил маленькую руку. Она тешилась ею, как могла, перемещая с пододеяльника на колено, с колена на стену. Солнечный зайчик остановился в распахнутом настежь шкафу.

Носки он искал? Носки или кофе? Кофе или носки? Напрасно пытаюсь вспомнить, чем началось сегодняшнее утро, она в конце концов рассмеялась рассыпчатым, счастливым смехом. Кистью руки мягко провела по щеке, подбородку, шее, но все это было не то: сонная кожа помнила другие прикосновения. Михал, он такой сильный, такой нежный!

А новый знакомый? Поджав губы, она фыркнула. Тоже мне красавец, думает, я брошусь ему в объятия. А вообще-то он и впрямь ничего, этого у него не отнимешь. Капитан!

— «Капитан, что делать с вашим кораблем...» — пропела она, подражая модной певице. Мелодия потонула в сладостной зевоте.

А что, капитан, подумала Вера, мог бы тебе достаться кусочек — пальчики оближешь. Но меня так просто не купишь.

Она болтала в воздухе длинными стройными ногами, на гладкой коже ни пятнышка.

Между прочим, я замужем, отрезала она, когда во время танца он предложил ей увидеться. Танцевал он, правда, как бог, весь мир расплылся, осталось одно — чувство ледящего кровь полета. Какое мне дело, ответил этот сумасшедший, его дыхание приятно пощекотало шею. А вас это что, тяготит? Нисколько не тяготит, услышала она свой собственный голос, показавшийся ей чужим. Ей хотелось

сказать вовсе не то, ни о каком свиданье не могло быть и речи, но кто-то будто подsunул другие слова.

— «Капитан, что делать с вашим кораблем...» — снова напела Вера. — И никаких претензий, дорогой капитан.

Постель Михала уже остыла, на одеяле лежал дырявый носок. Она брезгливо взяла его кончиками пальцев и забросила подальше.

Нет, уж если и есть в ком настоящая сила, так это в Михале, подумала Вера и улыбнулась: как это прекрасно — поддаться уверенным, крепким рукам и лететь во тьму, в неведомое, вне привычных ощущений. Куда там какому-то капитану!

Она отдернула занавеску, отступив в тень. Во дворе, сбившись в кучку, стояли женщины. На деревьях лежали иней, на осыпавшейся новогодней елке развеялись цветные блестящие нити, воробьи прыгали вокруг опрокинутой урны.

— «Капитан, что делать с вашим кораблем...» — не давал ей покоя шлягер.

В ванной Вера стянула через голову прозрачную лиловую рубашку. Шикарная вещица. Увидев ее на жене в первый раз, Михал вытаращил глаза, поперхнулся и хрипло сказал: ну гляди, Верка, в этом ко мне лучше не подходи. А ей так и хотелось кружиться и кружиться перед ним в сиреневой паутинке.

Она встала под душ и пустила теплую воду. Красота! Что может знать какой-то там капитан о ее жизни. Ему, видите ли, дела нет, что я замужем, а как увидел Михала — тут же смылся. Да стоило мне медвежонку слово шепнуть — собирать бы капитану косточки в его парадную форму... Но улыбка у него приятная, губы, должно быть, мягкие и горячие...

Выскользнув из-под душа, принялась растираться жестким полотенцем, гоня из мыслей дурь. «А вас это что, тяготит?» — так и лезло в голову. «Нисколько не тяготит». Да она же совсем другое имела в виду: наоборот, с Михалом хорошо, дорогой капитан. До чего ж самонадеян этот дурак! Ну и пусть себе торчит у педфака, все равно я уже не успеваю. И на семинар тоже. Если меня не вышибут теперь, не вышибут уже никогда. Хотя бы какой-нибудь старпер вел, можно было бы выкрутиться, а с бабой умрешь — не договоришься.

Ну и что? Вышибут так вышибут, вешаться, что ли? Надо было хоть Власте позвонить, чтобы отметила в журнале или передала, что я отпрашиваюсь.

Скомканное полотенце, не долетев до батареи, упало на пол. Вера уставилась на себя в зеркало. Светло-голубые глаза почти без бровей, розовые щеки, нос пуговкой, ротик — хоть пустышку суй.

Знаешь, Вер, говорил ей Михал, у нас с тобой просто чудеса в решетке: вечером с женщиной ложусь, а утром пацан какой-то под боком, прямо страшно становится — вдруг ты несовершеннолетняя.

Но утром чаще всего он вставал первым, уже научившись глушить будильник раньше, чем тот успевал раззвониться. А она просыпалась оттого, что щека соскальзывала на прохладное одеяло или когда он спрашивал о какой-нибудь ерунде. Как сегодня. Кофе! Наконец-то она вспомнила. Банка с кофе со вчерашнего вечера так и осталась лежать в сумке, этого он, конечно, не сообразил. Ну и балда, а наорал-то...

Распушив волосы, сосредоточив ненакрашенное с утра лицо, Вера нашла себя вполне достойной кисти художника. Она повернулась, махнув полами халата, и чистенькая, новенькая, отогнавшая грешные мысли, отправилась пить кофе.

Одного ей было жаль — никто так и не оценит ее жертвы, в конце концов, нельзя же было раструбить по всему свету, что уже через три месяца после свадьбы она назначила свиданье другому. Боже упаси, перед Михалом обмолвиться.

Она оглянулась, никого, кроме нее, в комнате не было. Но на какое-то мгновение ей показалось, что Михал рядом, смотрит на нее, читает ее мысли. Взгляд его ни с того ни с сего леденеет, лицо застывает, горячие мускулы напрягаются, беспощадный, огромный, как скала, он вот-вот в бешенстве обрушится на нее.

Вера закусил губу, на халат выплеснулась капля кофе, оставив на колене жгучий след, она послунила больное место.

А, собственно, почему бы ему и не сказать? Надо держать их на коротком поводке, а мне и нитки хватит, макароны вареной. Золотого колечка.

В поздρι продеть, донимал ее на Новый год Зденек, и шептаться себе, как хочешь. Он не побоялся сказать это вслух, чтобы все слышали. В ней шевельнулись страх и интерес. Все уже были навеселе. Но Михал ее просто удивил, только засмеявшись совету: самоуверенность из него так и лезла.

Она даже обиделась. Над столом стоял едкий дым.

Компания собралась та еще: то один, то другой ржали как лошади. Только старик Пёнтек все больше моргал да попивал себе ром. Лишь изредка его прищуренные веки вдруг прорезал острый взгляд, она чувствовала его, как чувствуют прикосновение холодного, страшного лезвия — оно не ранит, но по всему телу идет озноб.

Вам в уборную не надо, шепотом спросила ее Рогленова и, схватив за руку, потащила за собой. Вот корова, вылила на себя флакон французских духов и воняет теперь, как дюжина мартовских котлов. Мало того, прямо в коридоре она задрала юбку, мол, поглядите, что мне Рудольф купил. Вот ведь как любит. Через кружева просвечивал жирный живот. Тьфу, да и только!

Веселились вовсю. Жены сидели кучкой, смакуя вишневую наливку и кудахтая обо всем на свете: полуночное шампанское развязало им языки. Только Милушка Стшалкова, сцепив руки на высоком животике, пила лимонад и участливо кивала то налево, то направо, сдерживая зевоту и отрыжку от избытка газировки. На Стшалкову Вера не сердилась, пирушку-то не она — Яречек ее драгоценный затеял, отличиться захотелось. Мужиков он, пожалуй, сколотит в одно, а вот жены скорее всех перессорят. Да что там Милушка, она еще ничего, но вот что у меня общего с какой-то там Рогленшей, а ведь придется вместе ходить в театр да в кино. Или с Выметалихой. Эта — просто образцово-показательная жена, чистехонькая, волосок к волоску подобран, наглаженная, накрахмаленная, вон, села возле Пицмаусовой и трещит на своем глухим * диалекте, а та, хоть и не понимает ни слова, всему поддакивает, свеженькая шестимесячная завивка торчит у нее во все стороны. В ответ начинает своего расхваливать, какой, мол, умник-разумник, не пьет-не курит, любая работа под руками горит и цену себе знает, вот бы таких мужей дочерям. Она и их притащила с собой — двух крысят в платьях наподобие ночных рубашек; одна — в розовом, другая — в голубом. Мамаша по очереди вешала дочек на шею покорного Йожина — танцевать с ними никого не тянуло.

Несчастный Йожин наступал им на изящные туфельки, Вера вызволила его, вспотевшего, красного от напряжения, и шепнула: вам, похоже, уголь легче добывать. А бедняжка вперился в нее своими помутневшими телячьими глазами. Они же меня заставляют, признался он жалобно. А теперь я вас заставила, раскаялась Вера, но Йожин изо всех

сил замотал головой, кадык вылез из великоватого воротника, и он затянул потуже гластук, да так, что, казалось, вот-вот посинеет.

Танец кончился. Тут же перед Верой возник Зденек, отодвинув приятеля в сторону. Было далеко за полночь, танцевали только они двое, ритм увлек ее, и она больше не чувствовала тяжести своего тела, не видела ничего вокруг, все мысли улетучились, осталась только непонятная тоска.

Когда оба опомнились, Вера вся была обмотана серпантинном, усыпана конфетти, она потрянула головой, и Зденек, ловя маленькие цветные кружочки, словно ненароком коснулся ее груди. Она хотела было оттолкнуть его, но не устояла перед соблазном. Ах ты, потаскушка, сказал он ей прямо в лицо, мило улыбаясь. Это вы о ком? И, еще не услышав ответа, догадалась, вся сжалась в комочек. А он, насмевшись, подбросил вверх разноцветную мелочь. Этот смех она ощутила физически и принялась обеими руками стирать его со щек — казалось, в лицо плеснули кислотой.

Дома, примостившись на плече Михала, она осторожно пожаловалась, но он и слушать не стал. Зденда? Да ну, все тебе что-то кажется, он только свистни — любая прибежит, скорее мне какую-нибудь отфутболит, чем у меня отобьет. И преспокойно завалился спать.

Она швырнула кофейник на огонь.

— Дурак! — прорвало ее. — Чурбан неотесанный!

Кого ругала — не знала сама. Собственная беспомощность угнетала ее. Пальцем она сняла с языка крошку плохо промолотого кофе.

Нанялась я ему, что ли? Ошибаешься, милый. Подумаешь, шахтер какой-то! Герой с плаката. Хихикнув, она поймала себя на том, что вовсе не права. Как бы там ни было, я себе цену знаю, капитан так капитан. И вообще, почему он с ним не встретиться? У меня что, друзей своих не может быть?

Вера быстро оделась, начесала волосы, поработала подушечками пальцев над слоем крема и пудры двух оттенков и, употребив все краски, кисточки и щеточки, за двадцать минут превратила свою свежую детскую мордочку в фантомную рекламной дивы, для полного совершенства обрамив портрет пушистым белым воротником зимнего пальто.

По дороге к институту она совсем развеялась и даже почувствовала прилив радости — капитан топтался на условленном месте, посиневший, с платком у носа. Она пошла ему навстречу.

* Район в Северо-Моравской области.

Июжин пересек размытую границу света. Без товарищей, в одиночестве и тьма казалась иной, ему стало не по себе. Ко всему еще и обидно: бригадир мог бы послать кого-нибудь из вербованных, а не его, все-таки у него училище за плечами, подумаешь, самый молодой, да он в сто раз больше знает, чем тот же Зденек! Обыкновенный сачок. Не защищай его Медведь, стали бы его ребята терпеть в бригаде. А Медведь с бригадиром заодно, вместе деньгу заколачивают.

Июжин остановился и подтянул носок. Отмороженный большой палец на ноге ответил дергающей болью. Переобуваться он не решился, не было времени. Гони, сказал Стшалка, он знал, кому доверять, на Зденека и правда надежды мало — его разве что за выпивкой посылать.

Июжин выскользнул из темноты и дал сигнал машинисту. Внимательно считал, как учили. Сердце екнуло, когда вошел в клеть один. Зденек наверняка бы струхнул, даром что образованный и на три года старше, небось штудировал пену в кружке да баб в постели. Девки-то ладно, а вот чем он Михала взял, просто обидно.

Говорят, он Медведю как-то голову разбил бутылкой, но это вранье, тот бы ему такого врезал, мускулы у него железные, лучше не тронь. Когда он стоит под душем, огромный, заросший, сразу чувствуешь, какая у тебя дурацкая фигура, и прикрываешься ладонью. Может, подрасту еще, вон, ребята в армии как вытягиваются, брат когда вернулся, все рукава по локоть. Донашивай после него.

Зденек Падись по сравнению с Михалом слабак, но поначалу задавался, пока Стшалка не поддал ему. А Зденек только ухмыльнулся, ему не то что бригадир — директор шахты не указ. Это я-то выпендриваюсь? Я что, ты вон на Медведя посмотри — прямо бог всех вод, вылитый Посейдон. А старый Пёнтек — кривой весь, как сучок, — тот, язва такая, подхватил: во-во! Посерьдон! С тех пор он Михала по-другому не зовет.

Назвал бы его так кто другой — пришлось бы зубы лопатой собирать, а деду все нипочем. Раз сам бригадир его слушает!

Июжин направился к машинному отделению, он торопился и в то же время хотел, чтобы никого из инженеров там не оказалось. Уж больно все гордые. Его так и подмывало вернуться назад, мол, не нашел, но он знал, что вся надежда на него. Как показаться им на глаза: брига-

дир-то еще ладно, а вот Михал — тот стукнет его сверху по каске, эх ты, шахтер, называется, скажет он презрительно, как совсем чужому человеку, на которого и рассчитывать не стоит. Но самое страшное — это его насмешливый взгляд, под которым чувствуешь себя щенком.

Палец снова отзывался пульсирующей болью, не хватало еще для полного счастья, чтобы он начал нарываться, совсем засмеют.

Стиснув зубы, Июжин подошел к лебедке.

— К доктору, что ли? — рывкнул машинист. Привыкший к грохоту, он всегда кричал:

— Кайлом по мозоли рубанул, а? Чего хромаешь?

Насмешливый тон задел Июжина, и он насупился:

— Я ишу инженера.

— Какого?

— Какого-нибудь.

— Ну вот его-то здесь как раз и нет.

Июжин даже не улыбнулся, а машинист до конца жизни вспоминал свою шутку, которая вошла в память, как гвоздь, по шляпку. Спроси он тогда, что случилось, изменило бы это что-нибудь или все уже было predetermined? Раз в жизни дал ему бог возможность совершить добро, а он упустил ее, презрительно отшутившись, унизив ни в чем не повинного мальчишку. Нужно было так мало — одно спасительное слово, а он посмеялся над беззащитным.

Насмешливо посмотрит машинист Герман вслед хромающему парнишке, вытащит кусок хлеба, острым ножом разрежет яйцо вдоль — желток именно такой, как надо — не крутой, но и не растекается. Герман подцепит темный сгусток крови — маленький зародыш жизни и брезгливо стряхнет его на землю. Аккуратно вытрет нож. Вера в бога не позволяла ему есть то, что связано с загубленной жизнью, даже в столовую он не ходил, разве можно верить этим поварам — в начинку для пирожков чего только не напихают!

Возьмет Герман щепотку соли и подумает, как больно жевать. Передние зубы ему выбили в концлагере, а теперь шатаются и коренные под золотыми мостами. Скоро все к черту вылетят, давно пора.

На толстом лице появится усмешка. Вспомнит, как сидел при всех режимах: во времена первой республики — за дезертирство, в оккупацию — тоже его взяли, и после войны за решетку угодил — не понравилось товарищам, что предсказывал он конец света, правда, в сроках ошибся, но что значит пара лет по сравнению с вечностью.

Он срезает твердую корку и будет деснами жевать мякиш, пропитанный маслом. Отложит хлеб в сторону — сверху сигнал: «Подъем»!

Йожин в это время проскользнул вдоль транспортера велик был соблазн пристроиться на движущейся ленте, но нет, он не решился. Плевать, что запрещается, просто пульсирующая боль в пальце лишила его воли, нога стала тяжелой, чужой, сапог жал невыносимо.

Выглядывая инженерскую каску, он мечтал, чтобы ни одна не попала ему на глаза, потому что больше всего ему хотелось найти укромный уголок и посмотреть, что там с этим проклятым пальцем, может, гангрена. Пусть бы ампутировали, даже хорошо, в сапогах все равно не видно, и дело не ждет, на сбойку взяли бы кого-нибудь другого, и он бы пошел в другую бригаду, получше, вон Роман работает на комбайне, четыре тысячи * загребает, в училище был сержант — и так повезло.

Хотя — сколько ни работай, мать все забирает, до последнего геллера: очки наденет, все подсчитает, сверит — это она делает лучше Йожина. Боятся, чтобы сын денег не бросал на ветер, складывает на сберкнижку, говорит — чтобы были средства на первых порах, а на каких первых порах — одной ей известно. В кармане всегда должно что-то быть, и в пивной, случается, ребят надо угостить — но этого она не понимает.

Кровь бросилась ему в лицо, в палец задергало, везет как утопленнику: нарвался на самого пижонистого инженера в районе.

— Здравствуй, здравствуй! — Инженер блеснул сахарными зубами.

— Вы не можете посмотреть, что у нас там? Стшалка просит.

— Кто?

— Стшалка, бригадир. Вообще-то у нас инспектором Лишчар, то есть...

— Ничего себе, спутать меня с Лишчаром! — Инженер засмеялся, глядя на шахтера свысока.

Йожин чуть было не взорвался от гнева, его бесил еще и запах ментола изо рта инженера и свежий аромат его кожи, чуждые здесь, где воздух был пропитан потом и угольной пылью. «Воняет, как от бабы», — враждебно подумал Йожин.

— Ученик? — дружески спросил инженер.

— Забойщик! — От волнения его голос срывался. — Он сказал привести хоть кого-нибудь, мы на воду напоролись.

— На воду? Это на новом участке? И много воды?

— Да нет, но уж больно воняет.

— Тухлыми яйцами? Пошли, Лишчара найдет диспетчер, а пока я лучше сам к вам загляну.

Он решительно направился вперед, Йожка, уступая ему дорогу, споткнулся. Боль всего мира сосредоточилась в его пальце. Сстиснув зубы, он собрал последние силы, чтобы не потерять сознание. Слезы текли по черному лицу, прокладывая на щеках светлые дорожки.

Йожин ксвылял за инженером. Больше боли терзало его сознание, что он совершил какую-то непоправимую ошибку, как всегда, оконфузился. Во рту пересохло, сердце словно стиснула огромная ладонь. Он тащился за инженером покорно, как ребенок за материнской юбкой.

Машинист сердито отмахнулся от них, задетый кусок хлеба упал маслом вниз.

Герман был бледен, на лбу и под носом у него выступили крупные капли пота, холодная струйка текла по щеке. Открыв рот, он сосредоточенно прислушивался, где-то в самой глубине души чувствовал, что случилась беда; позже он приписывал это дару провидения, но на самом деле сказался многолетний опыт.

Он продолжал управлять клетью, понимая, что сигналы бессмысленны, ствол от пыли чистят, что ли. Он то опускал, то поднимал ее, пока не получил приказа остановиться. И мгновенно бросился к зазвонившему телефону.

— Что? Не слышу? Лопнула вентиляционная труба? Что? А, это ты, Михал. Давайте вниз, быстро! — Он повернулся к инженеру: — Трубку положил. Просит позвонить диспетчеру, у них там вода.

— Пусть сейчас же спускаются! — приказал инженер. — Дайте-ка трубку.

Гудков не было. Инженер лихорадочно набрал номер. С облегчением услышал человеческий голос.

— Чего вы ждете? Дайте бригадира. Говорит Легота. Слышите, сейчас же вниз, вы должны спуститься вниз. Да, я позвоню. Алло... алло... алло... — Он передал трубку машинисту. — Повесили. Или кабель оборвался.

Йожин не сразу сообразил, в чем дело, но, когда до него дошел смысл сказанного, он словно ощутил удар в солнечное сплетение. Сознание на мгновение погасло.

— Никто трубку не берет! — крикнул машинист.

— Попробуйте дозвониться, — сдержанно сказал инже-

* 100 чехословацких крон равны 10 рублям.

нер,—я пошел к главному стволу звонить в диспетчерскую.

Туман рассеялся, из ушей будто вынули вату, Йожка побежал за Леготой навстречу воздушной струе, отчаявшись, он подчинился его воле.

— Был совсем маленький ручеек.— Он словно пытался убедить его и предотвратить беду.— Вот такая струйка, товарищ инженер, вот такусенькая.

Легода даже не обернулся.

Сверху валил водопад. Он грохотал, источая отвратительную вонь.

— Я к ним проберусь, товарищ инженер, я под водой дольше всех выдерживаю, можете спросить в общепитии...— Йожин сам понял бессмысленность своего предложения.— Самоспасатель при мне. В полном порядке.

Инженер на миг прижал его к себе. Грубоватая нежность растрогала Йожина, никто в мире не был сейчас ему роднее.

— Беги к Герману, сынок, а то он там один,— и стал звонить в диспетчерскую.

Йожка вернулся в машинное отделение. В ушах все еще стоял грохот водопада.

— Молчат,— вздохнул машинист,— никто трубку не поднимает. Не понимаю, в чем дело.

— Давайте я наберу.

— Попробуй, может, тебе больше повезет.

«Повезет,— подумал Йожка,— чтобы мне повезло! Не удачнику!» Он набрал номер. Гудки летели в пустоту.

В машинное отделение плеснула первая волна. Она подхватила надкусанный ломоть хлеба и понесла его к стене. Следя за ним, Йожка снова набрал номер. Это была единственная, последняя связь с бригадой. Они ответят, они обязательно должны ответить ему.

Машинист что-то спросил, но Йожин только покачал головой, судорожно прижимая трубку к уху, с надеждой прислушиваясь к гудкам. Он не замечал, что вода поднялась выше колен, и не понимал, что громко всхлипывает.

IV

При свете дня капитан лишился значительной доли своего обаяния. Вера словно протрезвела. Тем не менее, мило улыбнувшись, она подала ему руку. Капитан ткнулся в нее холодным, как ледышка, носом, и Вера невольно отдернула ее.

— Вы боитесь, что нас кто-нибудь увидит?

— Нет, просто у вас жутко холодный нос. Наверно, вы очень здоровый человек. Знаете этот анекдот, как сумасшедший думал, что он собака?

— Знаю, но за это время окоченел бы даже сенбернар после бочки рома.

— Это что, упрек?

— Совсем даже нет. Я рад, что вы все-таки пришли.

Воздух был пропитан влагой, дым шел книзу и смешивался с туманом. На сплошном сером фоне появилась красная малолитражка с подушкой горного снега на крыше. Она затормозила, кусок белого пласта откололся и соскользнул по переднему стеклу. Машина тронулась, и пыльная кучка исчезла под колесами следующего автомобиля, навевая легкую грусть: словно задавленная птичка, исчез в слякоти комочек чистых, нежных перьев.

— Снег... Вы любите снег?

Он удивленно посмотрел наверх, не понимая, о чем это она.

— Снег? Люблю, только не за шиворотом.

Шутка пробудила в ней неприязнь. Ничего он не понимает. Не умеет смотреть вокруг себя. Чужак. И шинель у него слишком длинная. Почти до пят. И вообще со вчерашних танцулек он как-то побледнел, стал ниже ростом.

Он остановился, глядя на подвесную дорогу, в тумане катился вагончик за вагончиком. Кусок угля свалился на сетку. Капитан потер глаз.

— Ужасный город.

— Какой?

— Вы серьезно спрашиваете?

— А, вы имеете в виду Остраву? Вам здесь не нравится?

— А вам нравится?

— Конечно.— Она подняла голову и посмотрела на вагончики. Детство все еще было так близко, и ей снова захотелось забраться в один из них и проехаться высоко над городом.— Между прочим, все остравские возвращаются в родные края, где бы ни оказались. Они просто болевают от тоски.

— Правда?

Она не ответила. Только воротник подняла. Мех промок, пронизывающий холод коснулся кожи. Вера прибавила газу.

Толпа, коченевшая на остановке, заполнила автобус, и они остались одни.

Капитан сжал ее локоть.

— Ради вас я готов смириться даже с этой копотью. Прости, Острава! Вот видите, с городом я уже на «ты». Напыщенная фраза прозвучала фальшиво.

«А он еще и дурак», — подумала Вера и шмыгнула в кондитерскую. Они ходили сюда с девчонками есть мороженое. Здесь можно было спокойно посидеть и поболтать.

Она не оглядывалась, зная, что капитан идет за ней. Он успел подхватить ее пальто и повесить на вешалку. Своим шинель небрежно набросил прямо на ее роскошный меховой воротник, это Вера покорило.

Промолчав, она села за столик и только теперь заметила, каким жалким было все вокруг. На стене расплывалось пятно от протекавшей трубы, плюшевая обивка совсем вытерлась и выцвела, темно-красное освещение придавало кондитерской сомнительный вид.

Но здесь было тихо и пусто, только в углу сидела старушка и изредка отпивала кофе из дешевой чашки. Старушка была такая же древняя и поблекшая, как и все кругом, казалось, она сидит тут не первый век.

— Бывшая дама, бывший кофе, бывшая роскошь... — прошептала Вера и смела со стола крошки.

Капитан посмотрел на нее с недоумением. Подошла официантка, и они заказали пирожные и кофе.

— Я могу приготовить прог.

— Вот и отлично, я замерз, как цуцук.

— Ром двойной?

Передник ее был не первой свежести, на черном платье под мышками пот вытравил белесые пятна. Она зазывающе выпятила грудь, губы раскрылись в улыбке. Вера уловила искру взаимного тяготения, проскочившую между ее спутником и незнакомой девушкой. Это задело ее.

— Не хочу я прог, — сказала она сухо, — лучше мороженое с фруктами.

— Сейчас принесу.

Он ухмыльнулся:

— Как она вас!

— То есть?

— Вы же были уверены, что мороженого нет.

— Эскимо у них бывает круглый год.

Со своего места она видела, как официантка тщательно поправила наколку и только после этого взяла поднос. Тарелки на столе она расставляла медленно, церемонно, не забыв слегка задеть грудью капитанское плечо.

— С этой все ясно, как на ладони, — сказал он и не без

самодовольства поглядел вслед официантке, интерес ему явно льстил.

От грога поднимался дымок. Резковатый, неестественный запах щекотал в носу, капитан не удержался и чихнул. Отвернувшись, он громко высморкался. На голове у дамы, забытой всеми в углу, подскочила шляпа, допотопная, еще более выцветшая, чем обивка.

Чего я здесь сижу, содрогнулась Вера, что мне здесь надо? Уж лучше бы зашли в центральный гастроном, там народу полно, постояли бы у столика и исчезли бы в толпе.

В этот момент в залык влетели три школьницы, каждая из них жонглировала тарелкой с четвертушкой торта, коротенькие пальто нараспашку, красные, зеленые, синие вельветовые брюки. Едва усевшись, они скорчились от смеха.

Вера выковырнула из бокала черешню. Капитан чихнул еще раз.

Старая дама укоризненно оглянулась, девчонки хихикали, прискакали, гоготали, утирая слезы. Вера не удержалась и присоединилась к ним, черешня упала с ложки и покатилась по полу. Смешным показалось все — и кокетливая официантка, и картина на стене, и дырка от гвоздя, и географических очертаний пятно на отсыревшей штукатурке, и безобразно-розовые обои в мелкий золотой рисунок. Вера расхохоталась.

— Слишком долго пришлось вас ждать, — мрачно оправдывался капитан.

— Просто вы грогу нанюхались, вот и все, надо было заказывать мороженое, как я.

— И вы еще смеетесь!

— Да нет, с чего мне над вами смеяться? Мне просто весело. А вам нет?

Он вытер нос.

Тогда она принялась за пирожные, вкусные — пальчики оближешь, тем более если проголодаешься. Поглощенная взбитыми сливками, Вера лишь раз украдкой взглянула на капитана. Он выглядел расстроенным и даже несчастным, и она накрыла его руку своей ладонью. Надо же хоть чем-то утешить человека, раз его так развезло!

Капитан, растаяв, откликнулся на примирительный жест.

— Вы очень хорошенькая. Очень. Вам к лицу даже взбитые сливки.

Она достала зеркальце. По крайней мере, был повод убрать руку. Облизнула губы и, не стесняясь, подкрасила их.

— Тут ужасно, а?
— Это все ты. Моя бы воля, мы пошли бы в более приятное место.

— Это куда же?

Он выпил. Покрасневшие глаза блестели. На крыльях носа было раздражение.

— Куда-нибудь, где бы я мог вас поцеловать.

— На вокзал.

Он вытаращил глаза.

— На вокзал?

— Ну, конечно. Там это никого не удивит.

Эклер никак не поддавался ложке. Не смущаясь, Вера взяла его рукой и стала жевать с явным удовольствием. Капитан смотрел на нее вопросительно.

Совсем недавно она сама была такой же, как эти обхотавшиеся девчушки, правда, мама давала в лучшем случае двадцать геллеров на леденцы. Они с Олдой носились по бесконечному деревянному мосту, подкованные каблучки весело постукивали, время от времени она разрешала себя догнать и обнять за плечи. Они стояли, прижавшись друг к другу, и смотрели вниз на поезда и на рельсы. Огни тонули в тумане, зато звуки были особенно пронзительными.

Так и не решившись поцеловаться на мосту, они шли все медленнее, медленнее, и никому не хотелось выдать себя первым. На перроне ждали поезда, играли в замечательную игру во встречи и проводы, слегка чмокая друг друга в губы, о поцелуях они тогда и понятия не имели. Но это была волнующая игра, их собственное изобретение, поезда приходили и уходили, прикосновения становились все слаще, и большая стрелка вокзальных часов перескакивала все быстрее. А уж шума было дома!

Капитан закатил глаза к грязному потолку.

— Как узнать, когда вы шутите, а когда говорите всерьез?

Она пожала плечами:

— На все нужно время, капитан.

— Называйте меня просто Карел.

— Можно и так? Но «капитан» мне нравится больше. «Капитан, что делать с вашим кораблем...»

Он ухмыльнулся. А она забыла, как там поется дальше.

Маленькие хохотушки поднялись из-за стола. Одна из них поскользнулась на черешне, и они чуть не померли со смеху.

С их уходом кондитерская словно погрузилась во мрак. Безвкусные лампы сквозь шелковые абажуры источали слабый красноватый свет. Все казалось липким.

— Пошли, а? — предложила Вера.

— Вы боятесь, что вас кто-нибудь увидит?

— Почему? Разве запрещается есть мороженое?

Он поцеловал коралловые ноготки. Сначала на мизинце, потом на среднем пальце. Вера не сопротивлялась, это казалось ей забавным. Каждый поцелуй отражался на лице старой дамы, губы ее поджимались, поджимались, пока не исчезли совсем. Допотопная шляпа всякий раз вздрагивала.

Наконец он оторвался от ее руки, взглядом влажных карих глаз из-под ресниц, похожих на лапки майского жука, ошупывал Веру.

— Получите! — кивнула она официантке. Голос прозвучал громко, решительно.

Он тут же полез за бумажником.

— Нет, ведь это я вас пригласила.

— Не позволю, чтобы равноправие заходило так далеко.

Она не собиралась с ним спорить, разрешила заплатить и встала. Быстро надела пальто, чтобы он не успел к ней прикоснуться. После сладкого во рту остался неприятный привкус, она купила в кондитерской ментоловые шарики и, насыпав их на ладонь, опрокинула в рот.

Он самонадеянно ухмыльнулся.

На улице моросило. Воздух был густой, дышалось тяжело.

— Представляете, а в горах идет снег, — вздохнула Вера и закрыла глаза.

Сейчас открою — кругом будет белым-бело.

Но нет — все та же промозглая серость вокруг, промокший, есутившийся капитан. Жалко времени. Еще несколько шагов — и она сама будет похожа на мокрую курицу.

Вера выразительно посмотрела на часы.

— Надеюсь, вы не спешите?

— Не будем же мы гулять под дождем.

— Я не это имел в виду. Если бы вы так не упорствовали со своим мороженым, я предложил бы вам бокал вина.

— Но где?

— В одном симпатичном местечке. — сунув руку в карман, он выловил ключ и начал им поигрывать.

— Гм. А красное есть?

- И красное, и белое.
- А музыка?
- Маг. Отличные пленки.
- Да? А еще что?

Тихо, исподволь в ней закипала злость. Каждое его бестактное слово падало ей в душу, как таблетка-шипучка, пузырьки пенили кровь.

— Оба мы хорошо знаем, чего хотим,— усмехнулся капитан,— неужели два часа надо церемонии разводить?

Вера отвела глаза, где-то далеко взметнулось пламя. Сквозь густой серый туман просачивалось розовое зарево. Она подняла воротник:

- Знаете что? Идите вы на фиг!
- Простите, что?
- На фиг, говорю, или еще куда подальше!

Какой-то прохожий оглянулся на них. Она ускорила шаг. Но капитан не сдавался, он с силой схватил ее за руку.

- Провинциальная девочка? — бросил он язвительно.
- Можно подумать, вы персидский шах.

Вера рассмеялась. Не стесняясь, во весь голос. Он выпустил ее руку и поспешно перешел на другую сторону улицы.

Она побежала. Мимо витрин, мимо людей. В тепло. Вошла в универмаг. Украшенный к Новому году магазин показался уютным, зима была ему нипочем. В свободном углу висела большая клетка с двумя горлицами.

Вера смотрела на них, и дыхание успокаивалось. Мысли становились яснее. Она медленно направилась к прилавку, перебрала силовые платочки. Купила себе самый красивый, светлый, легонький, весеннее небо с облачками, и мини-трусики в мелкий цветочек. До чего надоели зимние вещи!

И тут она увидела туфельки из сказки. Золушкины башмачки. Узенькие лодочки жемчужно-серые так плотно сидели на ноге, словно срослись с ней. Вера уже не могла отказаться от них. А к весеннему пальто лучше не найти.

Она попросила завернуть покупку, но не хватило пятидесяти крон. Возвращать платочек или трусики тоже не хотелось.

Кассирша была непоколебима. Послушать ее — пятьдесят крон решают судьбу мира.

— Нет, до завтра мы не можем, просто никак. А сегодня вы не успеете? Может, займете у знакомых?

— Только отложите, пожалуйста. Честно!

И они заговорщически улыбнулись друг другу.

— Все равно до весны еще далеко.— Через большую витрину кассирша уставилась на серую уличную слякоть.— Январь, а погода, как на Душички*.

Выйдя на улицу, Вера повязала на голову новый платочек и побежала в мокрый туман.

V

Когда тебя догоняет зловонный поток, сбивая с ног, в голове остается только одно. Нет, это даже не мысль, скорее чувство, инстинкт самосохранения, превращающий человеческое существо в животное.

Застигнутые врасплох темной, неукротимой водой, они бежали теперь, как бегут на возвышенное место зверьки, которым угрожает наводнение. Остановить и загнать всех в клеть Стшалке не удалось: его голос терялся в грохоте водопада.

Вывернувшись, наконец, из объятий Михала, старый Пёнтек плюхнулся в воду.

— Наверх, пошли наверх.

— Вниз надо спускаться, к людям,— кричал Стшалка,— наверху нам крышка.

Клеть тронулась. Сверху, разлетаясь во все стороны, ее заливала вода. Уже никто никогда не узнает, кто в панике дал обратный сигнал, на подъем, и кто окончательно сбил Германа с толку последовавшими за ним беспорядочными дерганиями. Может быть, к тому времени вода нарушила сигнализацию, клеть хаотично моталась под ее напором, то опускаясь, то поднимаясь, то останавливаясь вовсе.

Михал почувствовал, как почти до дурноты защемило сердце. В мыслях промелькнул Ёжика, тонкая шея-стебель и две огромные мишени глаз, обведенных угольной пылью. Где он сейчас? Успел ли добежать, сказать?

Теперь не время было копаться в прошлом. Михал схватил трубку:

— Герман, позвони диспетчеру, вода прорвалась. Попробуем спуститься, да, если успеем, скорей верни клеть.

Клеть поднялась обратно и остановилась. Первым, обхватив голову руками, почти вывалился Пицмаус, его рвало. Зденок судорожно вцепился в локоть Михала, но, опомнившись, разжал пальцы, только дрожь никак не мог унять.

* Душички — день поминовения усопших в Чехословакии, 2 ноября.

— Как крысы в канализации,— сплюнул Роглена,— не идет она вниз.

— Мы должны спуститься, должны! Инженера слышали?

Вода грохотала, низвергаясь в ствол.

— Ничего не выйдет,— спокойно сказал Выметал,— не выйдет, Ярек, и точка. Пошли.

Бригадир больше не сопротивлялся. Он в отчаянии смотрел, как они уходят от него все дальше, и задержать их не было сил, да и разве у него самого хватило бы теперь смелости влезть в затопленную клеть?

Он вцепился в телефонную трубку, понимая, что это последняя надежда на спасение, и пытался выровнять голос:

— Позвоните в диспетчерскую, в забое прорвалась вода, ну да, хлещет в ствол, прямо в клеть, слышите... это вода шумит... свяжитесь с диспетчером, вы слушаете?..

Тот из них, кто взобрался на раму шкива первым, имел счастье узреть картину идиллическую: на железном полу камеры с мечтательным видом сидел Комар, гладкая, нежная кожа его лица не огрубела даже за два года работы под землей, она напоминала только что вымытого, высокобленного канифолью поросенка. Угольная пыль словно не приставала к нему, оседая лишь вокруг глаз и оттеняя их васильковую голубизну. Постоянное умиротворенно-счастливое выражение придавало Франтишкеу молоджавый, глуповатый вид. Но его огромные, багровые, вечно потрескавшиеся руки обладали удивительной ловкостью, шутя выполняли любую работу, осваивая любое ремесло. Казалось, они делают это совершенно независимо, действуя по своему усмотрению, и уж, во всяком случае, никак не вязались ни с его тучным телом, ни с лишенным всякой растительности лицом.

Прозвище ему прилепил Зденек, отблагодарил за теплый прием, сукин сын. Пришел он к ним забитый, ошалевший, всеми брошенный, как бездомный щенок. Но стоило ему чуть отойти, и он уже не знал, над кем бы еще поизгадаться, что бы изгадить — ничего святого у него не было.

Бывает, найдет в общежитии тоска, подкатит к горлу, а перед ребятами неудобно, повернешься к ним спиной, за окном пар поднимается, плывет дым, за стеной тумана еле светятся огоньки, но ты видишь там другое — теплый розовый живот, вздымающийся новой жизнью, кладешь на

него легонько руку — тогда тебе это еще разрешалось — и чувствуешь под ладонью тайное движение, шевеленье под нежной кожей пройдет волной — и небом ощущаешь сладость.

Скрывая волнение, прижмешься лбом к холодному стеклу, увидишь — бьется заморенный комар, раздавишь его пальцем и всю свою счастливую тоску вложишь во вздох: господи, а у нас и туман другой, и комары не такие, у нас комары так комары.

Тут-то и примется за тебя новенький, недоучка-студент, и вот уже Франтик Офнер вовсе не Франтик, а Комар, для всех, отныне и навсегда. Иногда он и сам забывает, что у него есть имя, но в мечтах о доме он снова становится прежним Франтиком, тут-то и начинается его настоящая жизнь. Получалось, что живет он и там, и здесь одновременно, как бы раздвоившись: шахте принадлежат только его руки, все остальное — жене Павлинке, вот она садится на кровать и, расстегивая блузку, помогает выскользнуть обоим грудям, поднимает ребенка, словно защищаясь от мужниных ласк. Маленькая Павлинка громко сосет, вторая грудь подрагивает, и из большого темного соска сочится молоко, капля за каплей падает на одеяльце. А он, не смея даже шевельнуться, страдает от жажды и мучительного счастья.

Как хочется прикоснуться, но Павлинка-старшая нежно, с улыбкой, отстраняет его. Она права, ему и самому неловко даже приблизить задубелую руку к ее чистехонькой коже. Прыснет Павлинка молоком на щеки малышке, чтобы девочка вышла лицом, а он думает, хоть разочек покропила бы она так его лапы, белый ключ неиссякаем, вот в следующий раз приеду домой, подставлю под него обе ладони.

— Комар? Ничего себе, разлеся!

— Ты откуда здесь взялся?

— Внизу вода,— смущенно оправдывался Франтишек,— жду, пока сойдет.

— Ни...— выдавил из себя Пицмаус.— Ни...— и когда кто-то сообразил стукнуть его по спине, закончил: — Ниагара, как есть Ниагара.

— Да из тебя больше вылилось, чем из этой дыры.

Шахтеры грохнули, смех был натянутым, но заглушил страх.

— До самой смерти на яйца смотреть не смогу,— сказал Пицмаус,— хоть бы прямо из-под несущки. А китайцы, говорят, их тухлыми жрут.

Его передернуло.

Выметал достал разорвавшийся пакетик с мятными леденцами. Видно, они давно лежали у него в кармане, чего только не пристало к слипшемуся комку.

— На уж, погрызи. Сюда вонь не дойдет, сероводород — он по земле стелется.

Один за другим они брали неаппетитные леденцы. Только старик Пёнтек отказался, по-прежнему жуя свой табак.

— Метан был бы хуже, эта дрянь, хоть и воняет, зато не ядовитая.

— Дед, — Стшалка подсел к товарищам, — они же не малые ребята, чтоб их успокаивать, как раз сероводород сильно ядовитый.

— «Сильно ядовитый!» Подумаешь, сопляк, да я уже давно вкалывал, когда твой отец еще под стол пешком ходил. И в жизни не помню, чтобы кто-нибудь этой вонючкой отравился.

— Потому что от вони сразу все разбегаются. А вот метан сам по себе действительно не ядовитый.

— Куда нам! — обиженно пробурчал старик, — теперь шахтер ученый пошел, так что тебе лучше знать.

— Метан вытесняет кислород, — продолжал бригадир осторожно, чтобы не ударить лицом в грязь и в то же время еще больше не раззадорить Пёнтека, — наступает удушье, а не отравление.

Зденек хихикнул:

— Ну, спасибо, шеф, успокоил ты меня.

Звук собственного голоса подбодрил Зденека, ему, наконец, удалось унять дрожь. Шахтеры, будто сжалившись, перекрыли гоготом его нервный смехок, тоненький и одинокий, и тем самым поддержали Зденека.

— Тихо! Кто-нибудь слышит вентилятор?

Все прислушались.

Бурлила вода.

— Я перекрыл только шланг к перфоратору, — стал вспоминать Выметал, — а вентилятор вроде работал.

Они притихли, напрасно пытаясь услышать еще что-нибудь, кроме всепоглощающего гула падающей воды.

Стшалка развернул свой «тормозок». Между двумя кусками хлеба лежал огромный, хорошо поджаренный, золотистый ромштекс. Он поделил хлеб и мясо на восемь частей и, накалывая порции ножом, стал раздавать их товарищам. Комар все с тем же наивно-детским выражением лица, покачивая головой, отказался от своей доли, отправившись снова в блаженное плаванье по молочным рекам.

Старый Пёнтек обычно никогда не ел, но сейчас не стал спорить, с аппетитом взялся за ароматный ломтик, его носгубка ходил туда-сюда, к подбородку и обратно.

— Что люблю — так это ромштекс, — смачно сказал Роглена. — Он должен быть вот такущий, как стульчак, и поджаренный на сале, моя старуха помнет картошечку, да с жиром этим перемешает, а если еще пару бутылок пива...

— И салат, — добавил Выметал, — салат с салом.

— Салат — тыфу, пакость какая, им только Пентковых кроликов откармливать.

— Гляди как бы они тебе руку не оттапали.

Михал мигом проглотил обе порции — свою и Комара, но чувство сосущей пустоты в желудке только усилилось. К голоду присоединилось ощущение какой-то странной неопределенности: Михала удивила внезапная перемена в Пёнтеке. Дед, всегда готовый выпустить ядовитые колючки, помягчал, не рассердившись даже за кроликов — попробуй кто-нибудь заикнуться о них в другое время!

Михал прикрыл глаза — и шахта исчезла, все заслонил собой один-единственный зеленый листок. Свежий и сочный, он вырос на бескрайней, темной пашне, пробив теплую землю копьём побега.

Эта картина была порождена голодом, мучительным голодом — вечным спутником его детства, заставившим обрывать горьковатые почки липы, жевать смолку, набивать желудок щавелем, боярышником, рябиной, молочными зернами ишеницы, тонкой кожицей плодов шиповника (как першило от них в горле!), облизывать капельку меда со шмелиного тельца, высасывать нектар из маленьких трубочек клевера, цветной крапивы, красть яблоки и картошку — ах, какая была картошка, горячая, приправленная пеплом вместо соли. Он скрывал от матери, что голоден, но она не могла не замечать царапин от колючек ежевики и занозистых заборов, пчелиных укусов на шее, разорванной сторожевым псом лодыжки, обожженных пальцев и вечных дыр на штанах, которые ей приходилось зашивать изо дня в день. Он понимал, сама мать только говорит, что сыта, но ничего не мог с собой поделаться, и съедал все подчистую, лепешки исчезали во рту, как в бездонном колодце.

Маме, понятно, тогда кормить было особенно нечем, а Верка — та обыкновенная лентяйка; с его аппетитом нужно было искать такую, чтобы, по крайней мере, готовить умела. Не зря Стшалка внушал ему: лицом пригожа, руками негожа. Какой там ромштекс, отбивает мясо — малень-

кие кусочки брызгами летят прямо на стену. Верочка, говорю, радость моя, положи доску на колени вот так, а она смеется и ластится к нему; ах ты, золотые ручки, все-то ты лучше меня умеешь. Но только меня на эту удочку не поймает, не такой я наивный; все она бухает, не глядя, и яйца, и муку, и молотые сухари, хорошо еще, что мать далеко, она бы ей показала, как добром кидаться. Да только Верка все равно из другого теста, сделать из нее хозяйку человеку не под силу. Обнимет тебя сзади за шею, шепнет жарко на ухо, поди, медвежонок, посмотри, что это ромштексты так на сковородке трещат? Ничего, а? Ничего или чего? Дурацкая у нас такая игра, а я дурак, говорю, ладно, ничего, масло шипит, сухари подгорают, Фартучек у Веры размером с носовой платок, сделает она самую что ни на есть невинную мордашку, наверно, жарко им в масле, медвежонок, вот они и раздеваются. Чего-чего — да ничего, тыщу раз говорил себе, ты меня этим не купишь, а она прижмется к тебе своим кошачьим носиком — все к черту горит. В том числе и ромштексы. Раз соседи чуть было пожарную команду не вызвали. От дыма можно было задохнуться. Чего-чего — а ничего: ели мы в выстуженной квартире, в кровати под одеялом. Картошку. Ко всему еще и разварившуюся.

— Все время во рту этот мерзкий привкус, — пожаловался Пиццамаус, — черт поberi, если я тут дуба дам, сколько мои за меня получат?

— За тебя не очень-то... Дают ведь по весу. По быку за килограмм.

— Я серьезно, Рудла, тебе хорошо смеяться, у тебя детей нет. А нам надо дом построить, две девки на выданье, Иванке семнадцать, Эвичке шестнадцать, да еще приданое, не хочу, чтобы они на пустом месте начинали, как мы. Вот так вкальываешь с утра до ночи, и все мало, дом — и тот не достроенный...

— Кончай, ты, жила!

— На дом твоим хватит, — успокоил его Выметал. — Не волнуйся, шахта жене поможет, если что. А вот как ей об этом сказать, у кого язык повернется? Я в войну сколько насмотрелся, даже вспоминать не хочется, но когда тебя посылают к чьей-нибудь жене с вестью, что кормилец не вернется, это, черт возьми, почище всякой войны. Помню, проинструктировали меня: начнет истерику — ты давай сразу о вещах практических, любяя сразу успокоится, мол, как лучше похороны организовать, и все в таком духе. Она как раз дитё купала, второе стоит, за юбку уцепилась...

Выметал немного помолчал. Тогда их послали вдвоем, и ни один не мог найти нужных слов, не решался сказать ей главное, боясь, что она испугается и утопит младенца в ванночке. Но она по выражению лиц, по глазам их прочла, с чем пришли, в чистеньком, накрахмаленном платье, гладко причесанная, излучающая свежесть и покой. Младенец орал, а старшенький, почуяв недоброе, уткнулся личиком в колени матери, она его легонько отодвинула в сторону, вытерла малыша, стала надевать ему распашонку. Похороны шахта, конечно, оплатит, сказал он тогда поспешно, и траурную одежду для всей семьи тоже, а тот, напарник, все молчал. Женщина смертельно побледнела, запеленала ребенка, взяла его на руки и покачнулась. О детях шахта позаботится, продолжал он, боясь, как бы она не упала в обморок, получите пенсию и пособие...

...Я тогда как начал о деньгах-то, она ребенка положила, Эдитку нашу, да как бросится на меня, в жизни не сказал бы, что в ней такая сила, молотит меня своими кулачками прямо по роже, а уж ругалась — больше десяти лет с ней прожили — но такого от нее я больше никогда не слышал.

— Выходит, с тобой мы в безопасности, — сказал Роглена, — говорят же, что в одно место два снаряда не попадают.

— Да заткнитесь вы, уж лучше о бабах давайте.

— А мы о чем? — Выметал устал на Стшалку долгий взгляд. — Открыть заслонку на вентиляционной трубе?

Бригадир молчал. Полжизни отдал бы он за десятника вентиляции с лампой Вольфа. Надо же, как нарочно, Лишчару понадобилось уйти. Если бы он хоть на полчаса задержался. Если бы. А вдруг с этой вонищей вышел метан — тогда они постепенно задохнутся. А если Выметал разбавит газ чистым воздухом — атмосфера станет взрывоопасной. Он перебрал все, что проходили в училище, чему научился за годы работы, но обрывки знаний кружились в голове, как подхваченные ветром клочки важного сообщения, и остановить этот вихрь ему было не под силу.

— Вам не кажется, что шум воды стихает?

Стремительный мутный поток заливал ствол.

— Скоро кончится, — ответил за всех Пёнтеки, — не море же там. Дать кому табак?

Табак из Пёнтекова кармана никого не привлекал. Выметал завертел головой и сунул в рот облепленный крошками леденец.

— Я, пожалуй, рискну.— Все молчали, и Зденек счел это знаком одобрения.

Но его рот все еще был набит хлебом и мясом. Разжевав, он не мог проглотить кусок. Вернулось самое мучительное в его жизни воспоминание: сидит он в подвале, складывает домик из чурбачков, ждет отца — тот пошел за хлебом и молоком. Вдруг его окружает толпа, сплошные юбки, ничего за ними не видать, все глядят его по голове, суют в рот соленое и сладкое одновременно, губы слипаются, он становится безразличным к прикосновениям, куски разбухают во рту, вокруг сюсюкающие голоса, совсем малыш, вот бедненький, несчастный ребенок, дыханье перехватило, крик застрял в горле. Вдруг кто-то протягивает ему холодное молоко, каждый глоток тянет за собой его прохладный шелк, в полумрак подвала откуда-то проникает свет и вместе с ним слова, которые инстинкт подсказал ему раньше, чем они были произнесены. Застрелили отца, причитает кто-то.

Сколько раз мучительное ощущение беспомощности и неуверенности возвращалось к нему в кошмарных снах, он просыпался взмокший, измученный, и только сама жизнь вливалась в него новые силы. А теперь действительность обернулась беспомощностью и неуверенностью, и он давился чужим куском в ожидании, что сейчас услышит окончательный приговор, узнает что-то непоправимо-страшное.

Но на него дунул свежий ветерок, стало легче, и он, наконец, проглотил кусок. Взял у Пёнтека табак. Дед усмехнулся и дружески сжал его плечо.

Все молчали. Грозный плеск воды отчасти заглушался шумом воздушного потока. Напряжение ослабло.

— Чего не хватает — так это пива, — вздохнул Роглена. — Ну да ладно, хоть отдохнем.

— Ты думаешь, за простой заплатят?

— А как же, тебе и за штаны обделанные заплатят.

Пицмаус надудся. Хорошо Роглене смеяться, ему бы только пожрать, пузо набить потуже, знай он, что такое дом строить, весь юмор как рукой бы сняло. То тебе известь давай, то кирпич, то кафель для ванной и уборной, давно бы сам масляной краской цоколь покрасил, так нет же, не дают бабы покоя, ванны одной хватило бы — куда там, мол, девчонкам скоро замуж, не будут же они в туалет на другой этаж ходить, а ведь раньше через весь двор бегали, и ничего. Одни клозеты во что обойдутся — лучше не считать, в общем, влетит в копеечку. Уборные им подавай

три, ванны — три, кухни — три, и в каждую — электроплиту, часы настенные; черт их возьми, у девок и женихов-то еще нет, а они уже прикидывают, кто с кем характерами может не сойтись. А в сад уже сколько вбухали — и там все еще ничего не растет, хоть бы уж калитку как следует запирали, бабье чертово, в прошлом году снег был высокий, так эти паршивцы зайцы перелезли через забор, твари ненасытные, ободрали молодые яблоньки до самой древесины. Вот так вкалываешь, ямы копаешь, саженьцы достаешь, а эти паразиты косые захотят червячка заморить — и две сотни, считай, на ветер.

Комар очнулся от своего безмятежного младенческого сна.

— Так все и течет?

— Ага, можешь спать дальше.

— Мне приснилось, что у нас дома пруд спускают, рядом с нашей халупой... А я сижу себе на запруде, смотрю, как там карпы плескаются, один больше другого...

— Рыба — это к смерти, — брякнул Зденек, — во всяком случае, моя мать в это верит.

— Да что ж ты за скотина такая, — обрушился на него Роглена, — долго же тебя учили, что ты так отупел.

Зденек только криво усмехнулся.

Он неосторожно произнес слово, которое витало в воздухе, нагоняя на всех гнетущую тоску.

— Не первый раз на старую выработку нарвались, — сказал Пёнтек, — всегда переживали, и вода спадала.

— А ты когда-нибудь видел, чтобы ее было столько?

— Чтобы столько? Всего не упомнишь...

— Пруды тоже не все одинаковые, и ширины разной есть, и глубины. Один за неделю можно спустить, а другой и за месяц не обмелеет.

— Я все-таки думаю, вниз надо было спускаться, — искал выход Стшалка, — по плану эвакуации...

— Заткни этот план себе знаешь куда? Самый верный путь мыши всегда показывали, они как начинали пищать да прямо под ногами драть! А мышь, думаешь, в воду сунется? Она бы карабкалась куда повыше. Да теперь где их тут найдешь, мышей-то, вместо коней — машины, а вместо шахтеров — посередоны всякие да жилы, которые дерьмо за собой — и то сожрут от жадности.

Пицмаусу и в голову не пришло принять это на свой счет.

Михал же заерзал: будет деду мелочиться, далась ему эта дурацкая мышь. Если уж так говорить, с Пёнтеком они

не поладили с первого же дня, Михалу был противен исходящий от деда запах и его табачные плевки, а старика раздражал верзила, который вечно попадался ему под ноги и при своем росте чуть что стучался о верхняки. Но по-настоящему они схлестнулись по глупой случайности: дед откармливал в бутылке мышонка, ублажал его кусочками сала и потом, порядком растолстевшего, выпустил на волю. У выросшего в деревне Михала сработал защитный рефлекс, и он в одно мгновение оставил от мыши мокрое место.

Пёнтек долго не разговаривал с Михалом, не замечал его и только в последнее время иногда отпускал в его адрес колкости, но все-таки это уже был шаг навстречу, пробивший стену молчания.

— Дед, а вы коней помните?

— А как же, вчера, что ли, это было, или позавчера...

— А правда, что они слепли?

— Зачем им в темноте были глаза? Штрек они знали на память, бункер находили точно, сколько раз я им завидовал, у них всегда было что пожрать. В войну, в ту еще, в первую, я овес у них крал, валился я тогда от голода, набирал горсть в потайной карман, мать мне его снизу подшила, и хрустел себе потихоньку, зубы тогда были железные.

Электрическое освещение погасло.

Шахтерские лампы едва разжигали непроглядную тьму.

— Может, сигнал нам подают?

— Похоже на короткое замыкание.

Все с напряжением ждали. Пространство сузилось ужасающе. Рокот усилился.

— Макс его звали, коня того, у которого я овес воровал, — как ни в чем не бывало продолжал старик, — мой старший сын машину купил, в его честь назвал, чертяка такой. — Лампа освещала морщинистое, носатое лицо, казалось, над огоньком, скрестив ноги, сидит сам сказочный хранитель подземелий Шубин. — А ему за это зерно, траву приносил, клевер. Один раз — в восемнадцатом это было, в последнюю военную весну, я тогда овес уже домой стал таскать, жрать совсем было нечего — я ему нарвал целую охапку одуванчиков, он их обнюхал, а как жевать стал, вспомнил, выдать, какие они, одуванчики, может, и солнце в них почуял.

Михал улыбнулся Стшалке, не вешай, мол, носа. В спину дул ледяной ветер.

Под мостом передвигали вагоны, металлический лязг буферов вливался в уличный шум. Вера с детства любила глазеть на пути, наверно, сказало влияние отца, но на этот раз она даже не остановилась — серебристо-серые лодочки не давали ей покоя.

Первым Мишиным подарком тоже были туфельки — черные «гондолы» за сто пятьдесят крон, дороже в магазине просто не нашлось. Продащица уже закрывала, на уговоры не поддавалась и, когда Михал сам поднял жалюзи на входе, рассердилась не на шутку, но, увидев его, сразу растаяла и готова была предложить весь прилавок. На Веру это произвело впечатление — ревность вспыхнула в ней раньше, чем любовь. Тогда между ними еще ничего не было, кроме езды на машине, ветра, задувающего в окошко, шоссе, апрельского неба, капелек минутного дождя, размазанных по стеклу в матовую пленку, ритмичных движений «дворников» и внезапно ударившего прямо в глаза ослепительного солнца за поворотом.

Это же аисты, закричала она ликующе и залилась краской. Он расхохотался, а она покраснела, смутившись. Остановив машину, Михал повел Веру по тропинке к лесу, ярко-зеленый луг рассечен был ручейком, окантованным золотыми цветами, она набросилась на калужницы, их сочные стебельки хрустели под пальцами, желтые головки пылали солнечным жаром. Ноги месили грязь. Он поднял ее на руки, но одного каблука как ни бывало, это была расплата за сорванное золото.

На сухое место Михал перенес ее, почти не прикасаясь, как поднос с фарфором — поднял, поставил и тут же опустил руки.

И еще чулки, девушка, сказал он продавщице, и немного воды — ноги ополоснуть. А больше вы ничего не хотите? Хочу: чтоб ваш милый вас поцеловал. А если у меня нет милото? Не может этого быть, вы такая хорошенькая.

Их шутливая перепалка чуть было не вывела Веру из себя, но она послушно отерла ноги и переобулась, разрешив Михалу заплатить, сунуть ее старые, стоптанные туфельки в коробку и выбросить ее в мусорную корзину. Он подал руку, и она повисла на ней.

А что я дома скажу, спросила она жалобно. Правду, уверенно ответил он. Мать меня просто прибить. Не бойтесь, я вашей маме все объясню.

Ну да, тогда они еще были на «вы», летели навстречу

солнцу, калужницы вяли, и Михал молчал. Он довез ее до самых гор, в новых туфлях идти было неудобно, они сели на бревна, всюду перед ними были застывшие волны поросших лесом гор.

Михал не сводил с нее глаз, взгляд был явно вопрошающим, но он остался без ответа, Вера срывала сосновую хвою и, будто шпильками, вооружала ими свой рот. Он поддержал игру, двумя пальцами собрал торчащие у нее из рта иголки и бросил их на землю, она тут же заменила их новыми, он терпеливо расправился и с ними, но она опять сделала то же самое. Аромат смолы смешивался с тяжелым мужским запахом. Она повернулась к нему, губы сжимали зеленую щетину. Он резким движением вырвал зеленые колючки и поцеловал ее недолгим, крепким поцелуем.

Я хочу на тебе жениться, если ты не против.

Я не знаю, сказала она то, что думала, правда, не знаю.

Дома разразился скандал, первая оплеуха за позднее возвращение обрушилась на нее тут же, в прихожей, лодочки блеснули новизной, мать раскричалась на весь дом, размахнулась — и Вера через полуоткрытую дверь влетела на кухню, прямо в раскрытую перед отцом газету.

Вдруг как из-под земли возник Михал с забытым ею букетиком, предельно спокойный и ужасно элегантный, в костюме на заказ (готового на его фигуру не купить), простите, что мы так поздно, вежливо извинился он и представился.

С красной пятерней на щеке она ставила цветы в широкую вазочку и, неторопливо расправляя их, довольно поглядывала то на отца, так и застывшего с порванной газетой в руках, то на обалдевшую мать, которая протирала стул и не знала, чем бы попотчевать гостя. Позже она отмахивалась, мол, не так все было. Наверно, до самой смерти не простит Михалу, что с первого взгляда приняла его за инженера.

Вера миновала проходную и вышла на просторный двор, с контейнерной площадки загружали в вагон большие бутылки с кислотой. Раздался женский крик, потом звон стекла, огромная лужа, дымясь, растекалась во все стороны. Вера замерла на месте, ей показалось, что с нее содрали кожу и зловещая жидкость разъедает тело. Но с платформы уже доносился заливистый смех, в нем потонула ругань грузчика, в конце концов он махнул на хохотушек обеими руками и сам осторожно погрузил оставшиеся бутылки.

Вера спустилась в полуподвал, каждый раз, приходя сюда, она удивлялась, как это такие приятные косметические ароматы могут смешиваться в один густой, тошнотворный запах.

Милушка сидела в маленькой комнатке недалеко от входа, в кроличьей безрукавке поверх рабочего халата, на бетонном полу кое-где были брошены доски. Она рылась в картотеке.

— Привет, Милуш.

— Привет, как хорошо, что ты пришла, поедem домой вместе. Я через два часа кончаю.

— Тебе вообще уже пора кончать, дышишь здесь этой вонью, холодина, как в склепе, удивляюсь, куда только Ярек смотрит.

— Думаешь, он не ругается? Еще как! Но все-таки лучше взять отпуск, когда ребеночек уже родится, скажешь, нет? А я здесь так сижу, время убиваю. Подожди-ка, я тебе кое-что покажу.

Она вся засветилась и развернула трогательный белый розовый комплект для новорожденного.

— Совсем как новенький, правда же? Если отделать голубой лентой, и для мальчика ничего. Чистая шерсть, ручная вязка! — Она засунула кулак в маленький капюшончик, стянула тесемку. — Видишь, как удобно? А пинеточки? Вот так он в них будет топать.

Надев на пальцы крошечные вязаные башмачки, она прошла ими по столу, глаза сияли материнским счастьем.

— Дай сотню займы, Милуш, мне в магазине отложили обалденные туфли, серебристо-серые, как раз к моему синему вечернему. И к пальто.

— Ненормальная ты, Верка, ведь у тебя туфель пруд пруди! И кто же сейчас туфли покупает, уж лучше тогда рейтузы теплые на зиму.

— Рейтузы? И сразу на кладбище? Говори, есть сотня или нет?

— Есть, конечно. Возьми, ради бога, но денег жалко, учти. Мебель у вас в рассрочку, машина сколько жрет, Миши так не надолго хватит. Это у тебя настоящая лиса?

— Нет, игрушечная! Это серебристая, у меня и шапка такая есть, что, разве не видала?

— На Новый год ты была в чем-то другом.

— А ты хочешь, чтобы у меня ее в раздевалке сперли?

— Что ж ты ее в дождь треплешь, с ума сошла? Сколько стоит?

— Нисколько. Михал подарил на рождество.

Это была не совсем правда. Уж ей-то хорошо было известно, сколько стоил мех, она сама затащила Михала в магазин, примерила, и ему не оставалось ничего другого, как раскошелиться. По крайней мере, думала она, теперь ему не придется ломать голову, что положить ей под новогоднюю елку.

— А ты ему что подарила? Небось, носки? Ярек говорит, ты ему даже кофе на смену не сvariшь.

— Неужто Михал пожаловался?

— Ну да! Он у тебя, как глухарь — ничего не видит, не слышит.

— Завидуешь?

— Что завидовать? Что у меня, своего мужа нет?

— Сплетник у тебя, а не муж. Какое ему дело, варю я кофе или не варю.

— Он же бригадир, обо всем заботится.

— Особенно о кофе, к тому же чужом.

— Ему за всем надо уследить, голова чем только не забита.

— Во-во, она у него в плечи забита, то-то он на черепуху так смахивает.

— Ну и зараза же ты, Верка! Какая из тебя будет учительница, не представляю.

— Это я-то зараза? Я к тебе как к подруге, а ты мне из-за каких-то там грошей всю душу вынула.

— Сотня — это, по-твоему, гроши? Ничего себе!

— Милуш, ты у нас беременная, нечего тебе и объяснять. Беременные — все психованные.

— Ничего я не психованная. Я же хочу, как тебе лучше. Правда, Вер. Брось ты институт — больше будете зарабатывать. Ты знаешь, сколько товароведы получают? В полтора раза больше меня, а сидят в кабинетах, в тепле, хотя некоторые даже школу не кончили.

Вера прыснула со смеху. Потешно все это выглядело — девчоночье лицо Милушки и ее огромное тело, занудливые речи над крошечными кофточками и штанишками.

— Вот чертовки, опять кислоту разбили! — сердито проговорила заглянувшая к ним пожилая кладовщица. — Хоть до посинения ори, все равно будут на самый край ставить, пока на кого-нибудь не опрокинут. Прелесть какая! — Она схватила воздушный чепчик с помпоном, потрескавшиеся руки зацепили ниточку, она осторожно заправила ее. — Где это ты взяла? Страшно прикоснуться, какая красота!

— Кристинка отдала из скобяных товаров.

— А-а, Криста? Это она сама связала? У меня так не получается. Ну, девчонка пусть у тебя будет хорошенькая, как у Кристины.

— Мы мальчика заказали.

— И мы сына хотели, а получилось — две дочки, и все.

У кладовщицы Лидунки покраснел нос, что было верным предвестием слез. Она всегда готова была расплакаться, но сдерживалась, начиная суетливо сморкаться. Работницы на складе называли ее между собой рёва Лида, они уже наизусть знали историю ее жизни. Близнецам не было и года, когда мужа разбил паралич, и Лидунка безропотно несла этот крест. Пожалуйся или поплачься она девчатам всласть, может, они искренне посочувствовали бы ей, но ее показная стойкость отталкивала их.

Милушка аккуратно уложила костюмчик в целлофановый пакет.

— Ведь правда, Вера могла бы работать у нас товароведом, пани Лидунка. Ваничек, на что уж дурак, и то справляется.

Кладовщица удивленно посмотрела на девушек и оглянулась по сторонам — жизнь научила ее быть осторожной.

— А что, Ваничек уходить собирается?

— Нет, это я так, к примеру.

— А ее зачем агитируешь?

— Зачем? А что толку с ее учебы, скажите на милость, уже четыре с половиной года на ветер, представляете, сколько за это время можно было денег скопить.

— Деньги — это еще не все, Милуш, почему пани Вере не окончить институт, раз есть возможность? Будь я помоложе, сама пошла бы малость подучиться, иной раз вечером откроешь книгу — сколько там всего интересного. Взять хотя бы учебник истории. Девчонкам нашим мы тоже образование дали, как мой радовался, прямо плакал на выпускном.

Пани Лидунка затрубила в носовой платок, чтобы скрыть предательские слезы.

— Сколько он в них вложил, все, что мог, сделал, с самого детства с ними занимался, все им объяснял от и до, хватало же у него терпения. Бывало, я еду приготовлю, а он на своей коляске подъедет к плите, все разогреет, девчонок оденет, причешет, в Бельский лес ездил с ними на прогулку, один раз до самой Одры доехали, все цветы им показывал, всех жучков называл, я преспокойно могла подрабатывать, сколько раз я себе говорила, могло быть хуже, ведь, бывает, мужик здоровый, а всю зарплату в пив-

нушке оставляет, до детей ему дела нет, так что горе горем, а без него не видать бы мне моего счастья.

Лидунка громко засморкалась.

Вера растерянно поддакнула, представив себе такое счастье, по коже побежали мурашки. Она с облегчением вздохнула, когда кладовщица отошла от них, не очень-то приятно было смотреть на ее истерзанный нос и красные глаза.

— Думаешь, он не поддает? — поспешно прошептала Милушка. — Прямо на коляске своей ездит в пивную, обратно — тык-мык! — еле управляется, а попробуй ему что скажи — запустит чем под руку попадется!

— Его можно понять.

— Весь ужас в том, что случилось это с ним не на работе, нырнул неудачно и сломал себе позвоночник.

— Думаешь, есть какая-нибудь разница, на работе или на курорте? Пенсия-то одна!

— Ты, Верка, как ребенок! Разница большая: денег больше бы платили. А так — он даже застрахован не был.

— Ты своего Яречка, конечно, застраховала.

— Ну тебя, один ветер в голове, что с тобой разговаривать.

— Наконец-то, давай сотню, и я побежала.

Милушка открыла бумажник. В нем был образцовый порядок, все деньги аккуратно сложены. Она нехотя выудила из большого отделения бумажку в сто крон и положила на стол.

Вера небрежно сунула ее в карман.

— Занесу вечером, в общем, как Миша с работы придет.

— Не горит, в крайнем случае, пусть Михал завтра отдаст Ярeku.

Хороша любезность — Милушка прекрасно знала, как Михал не любит всякие долги.

«Дались мы ей с Михалом, — сердито подумала Вера, — спит и видит, чтобы он из меня такую же клушу сделал, как она сама. Ишь, выпятила брюхо и хочет, чтобы все перед ней стелились».

— Ладно, — она легонько проехала по животу Милушки, — спасибо тебе. И давай рожай скорей своего маленького Ярду.

Сзади, под сводами склада, разнесся крик, подхваченный пронзительным девичьим визгом.

— Голову на отсечение, вагон пришел на разгрузку, — возмутилась Милушка, — всегда вот так, к самому концу

смены. С кладовщицы спросу никакого, а заведующего и след простыл.

Милушка как в воду глядела. Гомон приблизился, стайка девчат насадала на пани Лидунку.

— Что вы от меня-то хотите? Я же не виновата, — отбивалась она, отступая назад и шумно сморкаясь. — Договаривайтесь с дорогой. Даша, сходи за заведующим.

— Куда сходить-то?

— Это верно. Разве сам явится — как раз к шапочному разбору.

— Вы говорите, с дорогой, пани Лидунка, а дорога — это кто? Вон тот дед с флажком?

— Ну нет, я пошла домой — и баста!

— За час до конца работы! Всегда так!

— У тебя часы спешат.

— Да на других проходных уже отмечают.

— Или душ принимают!

— У нас тоже душ — когда дождь идет.

— Скидывайтесь на штраф — и можете идти, — сказала кладовщица со страдальческим выражением лица. — Тысячу двести нужно.

— Всего-то?

— Тогда обращайтесь к директору.

Крик криком, а все-таки работницы гурьбой вывалились на площадку, открыли вагон; первой вскочила Даша.

— Это нам привет из Усти-над-Лабой!

Озорно смеясь, она швырнула кладовщице документы прямо над головами девушек.

— Цвети и пахни, Острада!

Нахмурившись, кладовщица отняла у Милушки двухколесную тележку и протянула ей накладную.

— Отойди в сторону, чтобы тебя не задела.

Вера упустила удобный момент, и теперь уходить было неловко, ни к чему было давать Милушке лишний повод.

Она сбросила пальто, накинула, не застегивая, чей-то старенький халат, и, когда неслась с тележкой, его черные полы летели за ней, все ее существо раскрывалось, как первый весенний побег, пробивающий толщу прошлогодней листвы.

Постепенно Вера втянулась в несложный ритм — стоп! Нагрузить! Теперь бегом по площадке, через железный мостик на бетонный пол склада. Сгрузить, обратно через мостик, стоп!..

— В жизни нам не помогал,— шепнула ей на ходу Даша,— это он ради тебя так старается.— Она кивнула на шофера, надрывавшегося под тяжестью ящиков.

— Пусть пыхтит,— отозвалась Вера,— работай, работай, голубчик!

Они рассмеялись, один ящик упал, поднялось пахнущее мылом облачко пыли.

Вера разогнала тележку, на бегу одарила добровольного помощника улыбкой и успела поймать на себе возмущенный взгляд Милушки.

Это подбодрило ее. Приятно чувствовать себя такой стройной, гибкой, подвижной, вот так носиться, грузить ящики, ловко уворачиваться от восторженного простофили, готового в лепешку разбиться за один ее взгляд.

Она смеялась, опьяненная ритмом работы. Тяжелые ящики казались ей невесомыми.

Милушка с важным видом делала отметки в накладной.

VII

Директор шахты Гавлик внимательно слушал выступления, но смотрел при этом в сторону — он не мог оторваться от рисунков, которые выводил в своем блокноте главный инженер. Из-под острия карандаша тянулись линии, превращались в правильной формы кристаллы, уверенно начерченные скучающей рукой. Он ждал, когда среди прямых появится хоть одна кривая, а среди многоугольников круг, пошарил взглядом по потолку, но, не дождавшись в блокноте ничего нового, замерз. Инженер поднял на него понимающие глаза.

Гавлик нахмурился еще больше, сердито потер подбородок. Не любил он его, сам не знал почему. Главный достался ему по наследству от предшественника, работал безупречно, и у директора не было ни малейшего повода заменить его. Но все в Адамчике бесило Гавлика: волосы, зачесанные на лысину, сухопарая фигура, точные, расчетливые движения, четко сформулированные фразы, исключительная работоспособность.

Самое неприятное в нем было то, что, всегда соглашаясь с начальством, он тем не менее каким-то загадочным образом все делал по-своему. За короткое время Гавлик дважды испытал это на собственной шкуре. Как-то он неожиданно разразился идеей, главный инженер, с благодарностью приняв ее, тут же разнес в пух и прах директорское предложение, показав всю его никчемность. Гавлик

и сам знал, в чем слабые места проекта, и пошел на пятую, Адамчик прикрыл его отход, и все же это выглядело унизиительно.

Директор заставил себя слушать оратора. Говорилось все правильно, каждое слово можно было чеканить золотыми буквами. Совещание по технике безопасности. Зачем оно, зачем здесь торчит он сам, в конце-то концов присутствующие все до одного на зубок знают все инструкции. Сначала перегрузят вагонетку, потом пускают ее на максимальной скорости, а чуть что — тебя же еще за горло хватают. Дай бог, если те, кого республика щедро посылает на подмогу, хотя бы не курят в забое, такие уж это работники. В первый же день они открывают железный закон: техника безопасности урезает их заработки и лишает некоторых удобств.

Кое-кто засмеялся. Наступило так называемое «оживление в зале». На одной шахте, сообщил выступающий, в вагонетке с углем был обнаружен самоспасатель.

Директор свел и развел лопатки, пиджак жал. Это за просто могло случиться и у нас, сколько раз ребята совали что попало и куда попало. А чего только не оставляют после себя в лаве, иной раз поверить трудно, хоть приставляй к каждому вербованному зрителя, чтоб прибирал за ним. Да если б только к вербованному!

Он украдкой глянул в блокнот главного, теперь фигурами заполнялась следующая страница. До чего ж доволен собой, и поддакнуть вовремя умеет, и за порядком следит, как автомат, малейшую неполадку фиксирует, почти так же безошибочно, как я, но меня ведет чутье и опыт, а он, видно, хорошо обучен, и к тому же хваток.

Взыскания и штрафы раздаст, не вникая в детали, особо не разбираясь, ему это просто, он всю жизнь по земле ходит в начальниках, а я еще помню и ту, другую школу, ею чувствую, хороши ли мои собственные приказы и взыскания, правда, непогрешимым себя не считаю. Да, бываю суров, а иногда уговорить меня ничего не стоит, я ведь живой человек, черт возьми, наверно, для начальника это плохо, не мне судить. Институт закончил со скрипом, интеллигента из меня не получится, умей я хладнокровно принимать решения, жизнь была бы куда проще. Если бы я, как эта рыба рядом, мог думать прямыми линиями, только прямыми!

Гавлик ужаснулся бы, прочитав мысли своего соседа. В голове этого фанатика порядка был полный хаос, мысли разбегались во все стороны, мешались, сбивались с ходу и

никоим образом не соответствовали строгим фигурам в записной книжке.

Его упорядоченную жизнь нарушил вдруг ворвавшийся солнечный луч, осветив в ней несколько цветных страниц, не более того. Или это был проблеск счастья? Светлое пятно в серой жизни? Все началось сразу, без предисловия. Жена ушла на воскресное дежурство, и он отправился на традиционную прогулку один, быстрый шаг вывел его на тропинку, он глубоко дышал, чтобы прополоскать легкие лесным воздухом, обычно он всегда смотрел прямо перед собой, но на этот раз судьба направила его взгляд в сторону.

На низеньком пеньке, запрокинув голову, сидела девушка, в руке у нее была красная ленточка, темные волосы спускались до земли, лицо было залито солнцем, напряженная линия шеи и груди, словно натянутый лук, выпустила в него предательскую стрелу. В безветренной тишине падали листья, девушка даже не шевелилась, всем своим существом впитывая осеннее тепло, терпкие запахи, застывшее время. Среди гармонии красок и ароматов вдруг пахнуло на него тленом, осознав его неотвратимость, он попытался восстать.

Протест был жалким.

Неудавшийся сатир поймал летящую паутинку.

И никак не мог стряхнуть ее с пальца.

Так часто бывает, закончила сегодняшний ночной разговор жена, девяносто девять процентов мужчин в твоём возрасте страдают этим, так что не переживай. Поставив точный диагноз, она потом плакала потихоньку, эта новость убила его больше, чем хищная атака девушки обманчиво-романтической внешности.

Сидевший рядом с ним директор шахты расправил плечи, потерял о спинку стула и, поднявшись, пошел к выходу. Он никогда не высиживал до конца, пустые слова донимали его хуже мух, вообще манеры у него были какие-то лошадиные: фыркнет — к стенке отлетишь, рукой отмахнется — лучше в этот момент стоять подальше. Но только он был в силах помочь Адамчику выйти из щекотливого положения. Человек бесхитростный, мыслил он просто и трезво.

Инженер вышел за ним в коридор.

Гавлик, уже сполоснув руки, по-простецки стряхнул воду на пол.

— Ну что, еще не кончили?

— Мне нужно с вами поговорить. По личному делу.

Они отошли от двери уборной. Директор закурил. Нет,

человеческого расположения в нем не чувствовалось, наверное, он считал, что у главного инженера личной жизни быть не может.

— Я вас слушаю.

— По всей вероятности, вам придет письмо, товарищ Гавлик.

— Какое еще письмо? От кого?

Инженер заколебался, неведомая директору сторона его жизни становилась явной. Он вдруг почувствовал себя совершенно одиноким, безоружным, брошенным всеми на произвол судьбы. Гавлику импонировало новое амплуа инженера, почуяв в нем слабину, он оживился.

— Надеюсь, не аморалка? — проговорил он бодрым голосом. — На вас это не похоже.

Инженер Адамчик покраснел. Румянец на его узком строгом лице неожиданно пробудил в Гавлике расположение: став уязвимым, противник превратился в близкого человека.

— Аморалка — это было первое дело, которое мне пришлось разбирать на шахте, помните, история с инженером Леготой. Я тогда еще сказал, глядели б лучше в оба, как кто шахту обхаживает, а бабы — дело десятое, но вы выступили довольно принципиально, если я не ошибаюсь.

Инженер отвел глаза, к лицу подкатилась новая, почти болезненная, горячая волна, он ощутил сладкую беспомощность, растерянность, заставившую вспомнить себя в годы молодости. Ему хотелось убежать, чтобы кто-нибудь все решил за него, заставил его начать жизнь сначала (сам он никогда бы на это не отважился), но любая перемена страшила его, вот и сейчас он было повернулся, чтобы уйти, но ноги словно приклеились к полу.

— И знаете, что мне тогда Легота сказал по секрету? Что у него какая-то там горизонтальная шизофрения, от пояса вверх — это как будто один человек, а от пояса вниз — другой, неуправляемый. — Он громко рассмеялся.

«Вот дикарь, — подумал инженер, — убожество, куда ему понять тонкость отношений, всю сложность проблем».

— Что касается Леготы, я не он, одеколону на себя выльет, жвачку ментоловую в рот забросит — и бабы сами на него вешаются. А жена строчит во все инстанции — в шахтком, в партком, в город, область, да, друзья мои, не женитесь на писательницах.

— Моя жена ко всему относится трезво письмо написала другая женщина. Она беременна.

— От вас?

Адамчик пожал плечами. Директор, как всегда, попал в самую точку. Если бы, если бы я был уверен, что это мой ребенок, решение пришло бы само собой. Какое счастье — поднять над головой своего сына (выдержал бы чертов позвоночник!), понынчиться с дочкой, но разве Кларе можно верить? За несколько солнечных дней расплачиваться алиментами до самой смерти! А что, если она нацелилась именно на мою зарплату?

— Так вы считаете, пусть будет суд? А как я докажу, что ничего ей не обещал?

Директор снова рассмеялся. Представить себе педанта Адамчика в роли многоженца было просто нелепо. На какой-то момент ему пришло в голову, что инженер, наконец, подставился сам, и это удобный случай избавиться от него. Нет, недостойно, удар ниже пояса. Раз на работе он безупречен, не отыгрываться же на его личных неурядицах.

— Хоть хорошенькая? — Гавлик дружески хлопнул его по плечу. — Пошли, дружище, а то нас еще отметят как отсутствующих. Не волнуйтесь, что-нибудь да придумаем, главное — вы сами должны знать, чего хотите.

Я хочу, чтобы меня оставили в покое, мелькнуло у Адамчика, чтобы в жизни был порядок, чтобы у меня было все, к чему я привык, и... хочу, чтобы все изменилось, хочу начать все сначала с другого конца, счастья хочу.

Оратор, сменивший прежнего, смирил их укоризненным взглядом, тем более что Гавлик, садясь, шумно задвигал стулом. Уголки губ у него непроизвольно вздрагивали от смеха, он старался не смотреть на инженера. Геометрические построения теперь забавляли его: из прямых линий начали самым бесстыдным образом вырисовываться известные символы.

Но когда выступавший перешел к профилактике силикоза, смех как рукой сняло. Гавлик поскреб подбородок, с утра побрился, а щетина уже потрескивает под пальцами. Дыханье перехватило — ему ненавистно было даже слово «силикоз», у самого легкие далеко не идеальные, все казалось: годы ударного труда, внеурочные, воскресные и праздничные смены, плевать они тогда хотели на всякие там указания («тянут кота за хвост, сидели бы себе наверху и помалкивали, бюрократы!»), а теперь вот харкают угольной пылью. Да что там — есть помоложе, а уже «отметились» — вон, Стшалке еще тридцати нет, врач предупреждал, парень может работать только наверху, послужить его — выходит, из забоя должны уйти самые лучшие, самые преданные шахте люди. Только дураки и лицемеры

утверждают, что большое дело может обойтись без жертв, но ведь любой работе человек отдает часть своего здоровья — не легкие, так сердце и нервы.

Получим машины — все будет проще, правда, придется еще строже следить за техникой безопасности, за соблюдением инструкций. Прав оратор, сразу видно, не по книжкам — по опыту знает. Но в общем-то хватило бы двух слов, двух маленьких словечек: «соблюдать правила»! С утра до вечера и с вечера до утра вбиваем это всем в голову, — до последнего вербованного, надоело, как заигранная пластинка. И результата никакого.

Он вздрогнул. Кто-то, стоя в дверях, звал его к телефону.

— Похоже на розыгрыш, — подумал вслух Гавлик уже сидя в машине. Как хотелось верить, что это именно так, и он ждал, что кто-нибудь подтвердит его невероятное предположение.

Шофер молча вел машину с включенными фарами.

Инженер нервно сплел пальцы. Суставы хрустнули, лицо было бледно.

— Я этого боялся, — сказал он тихо, словно выдохнул. — Шахта жрет человека со всеми потрохами. Как тигр — чуть замешкаешься, и он набросится на вас сзади.

Только теперь директор понял, что разделяет их с инженером. Для Гавлика шахта была не диким зверем, которого нужно было постоянно укрощать, для него шахта была любовью — суровой, трудной, единственной. Больше, чем любовью, — она была всей его жизнью.

Вахтер поднял шлагбаум.

Они въехали во двор. Казалось, здесь все в полном порядке.

Проехали мимо красной «Шкоды» с непонятной надписью на запыленном стекле: «Медведь осёл».

У комбината стояла «Скорая помощь» и машина горноспасателей.

— ...твою... — выругался Гавлик, на ходу распахивая дверцу машины.

VIII

У театра стояла очередь на автобус. В основном женщины — «отоварившись» в центре, они возвращались домой.

Продукты куплю в Порубе*, решила Вера, может, что-нибудь и придумаю на ужин. От занятой сотни

* Район Острavy.

осталось всего сорок крон, потому что она не устояла — купила два бутерброда и черносмородиновый сок, уж больно хотелось есть, к тому же смородина такая полезная — одни витамины. Но даже специфический вкус густой жидкости не перебил привкуса мыльного порошка, теперь недели две, не меньше, буду плевать пузырями.

Что бы такое приготовить на ужин, вчера обед был у мамы, она завернула пирожки на дорожку, но Миша, придя домой, тотчас их съел, на танцах подкрепились в буфете, можно, конечно, сосиски субботние поджарить или сардельки сварить с картошкой, пюре сделать, тогда за молоком придется сбегать, там уже пять бутылок грязных, помыть их — дадут пять крон за посуду, вечно забываю купить этот ершик, попробую отмыть скорлупой... о, идея — яичницу! Да, а сало? А лук? Есть у меня луковица или нет, я же ее выкинула, с этим центральным отоплением ничего долго не лежит, картошка прорастает, а что, если подбить медвежонка на новый ресторан, говорят, там бывает печенка по-английски?

Правда, неизвестно еще, как у него с деньгами. За три месяца они ни разу не занялись своим бюджетом, Милушке проще, черепашка два раза в месяц отдает ей все до последнего геллера, надо бы Михалу как-нибудь намекнуть. Осторожно-осторожно. А то как примет непроницаемый вид, на лице написано: «Въезд запрещен!» — это он умеет, и тогда слова от него не добьешься. Милушка завидует, что Михал мне такой подарок сделал, а что беденький Ярэк ей может купить, если она ни кроны ему не дает!

До зарплаты почти неделя, может, у Миши что и завалось, обедает он по талонам, если уж совсем подождет, сбегая к матери, навру, что все счета одновременно пришли, ну, выслушаю очередную нотацию.

— Я уже здесь! — Власта втиснулась в очередь рядом с ней. — Ты же для меня заняла?

— Еще немножко — и ты бы опоздала.

Кто-то попытался возмутиться, но Власта тут же обернулась:

— Извините, мне надо было сбегать в одно место, просто сил никаких не было.

Вера отчаянно пыталась подавить смех.

— Хорошо еще, что вы мне в ботинки не напрудили, — произнес подвыпивший мужчина и навалился на нее. Она толкнула его острым локтем в поддых, и он чуть было не упал навзничь. Внимание толпы переключилось на него.

Девушки с трудом влезли в автобус. Вера, подняв над головой коробку с новыми туфельками, протиснулась к окошку на задней площадке, Власте удалось проскользнуть за ней, и она, наконец, выпрямила свое длинное, тонкое, как плеть, тело.

— Ты где гуляла, Верка? Брыхуля тебе зачет не поставит.

— Она что, говорила? А ты меня не отметила?

— Отметила. Но контрольную-то я за тебя написать не могу. В общем, лажа.

— Да зайду я к ней. А что это она вдруг контрольную закатила?

— Кто ее знает. Но наши тоже все расшумелись, тебя даже на собрании не было. Представляешь, каково Дану: ругать тебя он не хочет, а выгораживать тоже не может.

— И не надо, никто его не просит. Знаешь, сколько у меня дел, с утра как белка в колесе: то убирать, то готовить, черт-те сколько всего...

Власта прервала ее взглядом лукавых глаз.

— Бедняжечка, что ж ты так торопилась? Полгруппы считает, что ты просто подзалетела, поспорили на ящик пива.

Ты за кого?

Я считаю, что залетела.

Тогда давай, копи мне на пеленки. А Дан?

Он в споре не участвовал. Это ниже его достоинства. Скорее всего, считает, что нет, он и мысли не может допустить, что между тобой и Михалом до свадьбы что-нибудь было.

— Может, и не было.

— Было, не было... — усмехнулась Власта, — давным-давно, в тридевятом царстве...

— Из сказок я уже выросла. А ты пожила бы с моей мамашей восемнадцать лет, поняла бы кое-что.

От пощечины к пощечине, от нотации к нотации, где была, с кем была, почему... Тогда были прогулки по парку, игра в прятки за голыми деревьями, поцелуй в тумане, прикосновение озябших рук, в общем, чахлая любовь без продолженья. Зубрить и ждать, главное — ждать, всего четыре года, потом армия, ходить в перешитой юбке и майке, утешая себя надеждой, что потом где-нибудь в пограничье нам выделят полуразвалившийся домик и мы будем учить полубеспризорных детей, устраивать для них утренники, для родителей — лекции, розочки сажать посреди деревенской площади.

— Значит, ты выскочила замуж только чтобы уйти из дома?

— Что за глупость. Ты знаешь, что такое Михал? Если бы ты знала...

«Но раньше я выцарапаю твои хитрющие глаза,— подумала Вера,— ты и понятия не имеешь, что это такое — чувствовать рядом руку настоящего мужчины, никого мне их, слюняев, не надо. Со всеми их книжными идеалами».

— Почему ты как-нибудь не притащишь его к нам? Пусть бы рассказал о своей работе. У них бригада социалистического труда?

— Нет. И потом, только они и ждут, чтобы их пригласили студенты из педа. Ты пойми, у них совсем другая жизнь, им не до болтовни, просто работают — и все.

— Не забудь зайти к Брыхуле, я выхожу.

Смена на металлургическом еще не закончилась, и дальше автобус поехал полупустым.

За грязными стеклами цехов вспыхивал синий огонь, нештукатуренные здания из красного кирпича навевали скуку. Дальше был крытый рынок, еще недавно Вера ходила туда глазеть на недоступную роскошь. Шоколадки в цветастых обертках, тонко нарезанная колбаса, пирожные, соленая рыбка — груды лакомств, а в кармане пусто, так, двадцать геллеров на таблетку шипучки.

Она презрительно усмехнулась, мысленно вернувшись в страну своего детства, покинутую три месяца назад. Ей казалось, что прошло уже море времени, и в ней ничего не осталось от ребенка, разглядывавшего витрины.

Бедный папа, когда ей исполнилось десять лет, она получила от него необычный подарок (его единственным богатством была природная изобретательность): живое железо. Зрелище искрящейся реки захватило ее, она стояла в своем красном платице, с красным бантом в волосах и, держа отца за руку, зачарованно смотрела в огонь. Они были далеко, но он дышал на них жаром, золотые звездочки вылетали и вновь возвращались в свою стихию. Она рванулась было к ним, но отец крепко сжимал ее ладонь, не пуская вперед ни на шаг.

Если я туда упаду, я стану звездочкой, пап?

Нет, ты превратишься в облачко, маленькое облачко пара.

Облачко — и больше ничего, папа, ничего от меня не останется?

Ничего, и это маленькое облачко быстро рассеется,

из железа отольют куколку и вместо тебя положат в гробик.

Железную куколку, пап? А что, так уже было, пап?

Да, бывало такое, но мы с тобой стоим далеко и ведем себя осторожно.

Все равно хочется перепрыгнуть через эту реку, пап!

Перепрыгнуть искрящийся поток, фантастическую струю раскаленного железа. Только благородный металл дает искру, говорил отец, шлак течет лениво, без звезд, и совсем не похоже на салют.

Отец никогда так и не узнает истинную цену этого подарка. До сих пор она думала, что он самый главный, охраняет завод с револьвером, пропускает, кого хочет, ходит, куда вздумает. Теперь, в этих огромных цехах, она поняла, какой он маленький, незаметный среди гигантских огненных шлейфов. Владыки искрящихся рек, пышущих огнем болванок, раскаленных слитков, могучих кранов сердито покрякивали издавна, по сравнению с ними отец был совсем маленький. Это моя дочка, кричал он в ответ, ей сегодня десять исполнилось, и я ей подарил завод. Дешево отделался, пытались они перекричать грохот машин, сэконо-

номил. Но подарок обошелся ему дорого, он утратил в глазах дочери свой ореол. Вера знала теперь, что разноцветные огни завода — это одно, а он — совсем другое, седой, ничем не примечательный папа.

Автобус проехал мимо нового дома культуры, на диво чистенького в городе, запорошенном пылью. Между домами появились два огромных террикона шахты имени Швермы — гигантская, живая грудь Остравы.

Вера улыбнулась. Тогда, на заводе, она первый раз влюбилась, первый раз загляделась на незнакомого мужчину. Они зашли в кузнечный цех, гигантский молот с силой обрушивался на раскаленный слиток, ударял в него, расплющивал, опускался и поднимался.

В отблеске огня ловко двигался плечистый, заросший парень, блестящие мускулы перекачивались, он приказывал молоту, заставляя железный огонь принимать нужную форму. Загляденье! Девочка не спускала с него глаз, а когда, наконец, заставила себя отвести взгляд в сторону, его образ остался на сетчатке, отпечатался в сознании и перерос в девичью мечту.

Она любила незнакомца так, что не поделилась тайной даже с Милушкой, все мимолетные увлечения сразу померкли и тихо ушли из ее жизни.

Прямо перед ней возникла белая башня — новостройка, она вышла из автобуса. Широкая улица была наводнена молодыми мамами с колясками и кипела разноцветной молодостью. Перед самым домом Вера вспомнила, что утром, уходя, она не видела на месте машины — наверное, проспав, Михал решил наверстать время. Значит, и домой он вернется раньше обычного, хорошо еще, что я не стала ждать Милушку, а то было бы дело! Пришел бы Михал — а кровать, и та не убрана, он бы мне задал мойку!

Уж лучше бы он ее упрекал, тут бы она нашлась, что ответить, но он был не простачок какой-нибудь. Один раз, когда она вот так опоздала, он сам сложил постель, прибрал в квартире, к ее приходу заканчивал мыть посуду. После смены самое лучшее — активный отдых, сказал он таким тоном, что лучше бы ей провалиться на дно морское. Дошло бы это до Милушки или до матери — не было бы ей пощады. Особенно Милушка — та никому проходу не дает. Не удивительно, что она возгордилась своим животом, может, это ее единственная достопримечательность. Если бы не я — сидеть бы ей до сих пор в девках, сама Милушка в жизни бы Ярека не окрутила. Ишь, вцепилась в него мертвой хваткой!

Вера бегом поднялась по лестнице и быстро отомкнула дверь. Раз-раз, пальто на вешалку, платья в шкаф, постель в тумбочку, окно нараспашку, отвалившуюся штукатурку на совок — и надо же ему так дверью бухать, медведь такой!

Кто-то позвонил в дверь. Она набросила халат.

Соседка принесла посылку от матери Михала.

— Немного подтекло, я на балкон вынесла, наверное, что-нибудь съестное, раз срочная.

— Спасибо вам большое. Вы извините, я как раз переодевалась.

— А я уж испугалась, что вы заболели.

— Нет, я была в городе. За доставку сколько?

— Доставка оплачена, но почтальону я все-таки дала две кроны.

— Одну минуту.

Соседка, оглянувшись, подложила под свою дверь башмак, чтобы та не захлопнулась, и ступила в прихожую.

— Не надо, не ищите, как-нибудь потом. Ну, спасибо, спасибо. Такая слякоть — вытирать не успеваешь, правда же? — Она выразительно покосилась на мокрые следы у порога и заляпанные сапоги. — Мы у самых дверей разуваемся, и то ведро с тряпкой у меня уже вот где сидит.

— У вас дверь не захлопнется? — спросила Вера с надеждой.

— Нет, я смотрю.

Закрыв за ней, Вера облегченно вздохнула. Ну точно как моя мать. Она когда первый раз пришла в гости, мебель была совсем новая, на коврах — ни пятнышка, стол накрыт — салфетки, рюмки, мама кивает головой, кивает, а потом и говорит: во-он под тем шкафом и пылщи же у тебя. У соседки, хоть она и молодая, детей трое, мал мала меньше, а квартира всегда, как игрушка. Когда она успевает — одному богу известно.

Вера прямо из мойки взяла нож и перерезала веревку, страшно не любила узелки развязывать. Из посылки пахло свежеекопченной свининой, и у нее потекли слюнки. Под пакетом лежало промасленное письмо, она пробежала взглядом расплывшиеся буквы.

Зельц лучше всего положите в морозилку, мясо тоже, пусть Вера на этом что-нибудь сэкономит.

Правильно советует свекровь, но ей невдомек, что деньги, подаренные сыну на холодильник, истрачены на предметы противоположного назначения, согревающие теперь Веру. Так решил Михал, раз это был подарок его матери, последнее слово было за ним.

На балконе не испортится, родителей угощу, за это что-нибудь из них выужу, не забыть бы Индре послать кровяной колбасы. Надо же, как вовремя пришла посылка, бр-р, представляю себе разговор с Михалом о деньгах. Что ж делать, сказал бы он подчеркнуто спокойным тоном, ты же только высшую математику проходила, а с этой арифметикой тебе не справиться.

Сам ест в три горла. Слава богу, еды теперь хватит на неделю, нужно только по дням распределить. Хотя ладно, я ведь везучая, я всегда была ужасно везучая. И экзамены сдам запросто.

Она отрезала толстый кружок зельца и, с аппетитом откусив, заела хлебом.

IX

Вода все так же грохотала. Временами шум ее, казалось, слабел. Поняв, что это лишь иллюзия, они притихли. Зденек вглядывался в свет лампы, темнота наводила на него ужас.

— А правда, дед, что в Остраве есть затопленная шахта?

— Есть такая, «Бедржишка». Давно это случилось, еще при императоре австро-венгерском. Сала туда накидали целые вагоны, дармового.

— Сала? — удивился Пицмаус, — для тех утопленников, что ли?

— Ну да, они там сидят до сих пор, пьют воду да жрут сало, а как нарабotaются — ходят стращать вербованных.

Пёнтек засмеялся своим скрипучим смехом.

— Там плывун был, гиблое дело. Сало воду в себя тянет, разбухает, теперь так не делают.

— Да кто сейчас будет сало зря переводить, а не плохо бы.

— Но у нас-то не плывун.

— Ты точно знаешь?

— А ты песок, что ли, бурил? Сплошной камень. Да и план я видел. Чего стращать друг друга, лучше б анекдот какой, что ль, рассказали. Зденек, ты их вон сколько помнишь.

Зденек съежился в серый комок, длинная прядь упала на лицо, волосы блестели в свете лампы. Он поправил их, протер глаза.

— Анекдоты? Ладно, слушайте.

— Давай, а то ты у нас в темноте совсем скис.

— К темноте привыкнуть надо, — вступился за него Пёнтек, — все вы тут балованные, вы разве знаете, что такое темнота. Настоящая темень — да на нее, как на стенку, на-тыкаешься. — Он высоко поднял свою лампу. — И свет вы тоже не цените. Первое, чему я научился, когда еще шахтарчуком бегал, лампа — это не только глаза, это вся жизнь как есть.

«Не сели бы они у нас, — подумал Стшалка, — может, погасить половину, но при таком воздухе лучше не трогать. Начнешь крутить — хватит одной искорки... Иначе Выметал сам бы предложил, да и для Комара это игрушка, а молчат. На двадцать четыре часа света хватит, это точно, глядишь, и мы выдержим».

— Значит, так, — начал Зденек. — Идет профессор, на природе прогуливается, по лугу, жаворонок поет, цветочки цветут, смотрит — на траве перчатка лежит. Профессор поднял, посмотрел вокруг — никого, только корова пасется. Он ее со всех сторон обошел и говорит: «Милостивая пани, покорнейше прошу простить, не вы ли случайно потеряли лифчик?»

Шахтеры загготали, Михал рассмеялся вместе со всеми. Правда, шутка едва задела его сознание, потому что

с первыми же словами слух отключился, он увидел перед собой ярко-зеленый луг, прорезанный золотой дорожкой калужниц, девушка рвет цветы, мясистые стебельки хрустят, и тебе хочется затискать ее до смерти, смолоть в золотой порошок, выпить как чистую, журчащую воду, открывшуюся под сочными листьями. Но нет, совладав с желанием, осторожно, нежно вытаскиваешь ее из болотца, облако взбитых волос чуть щекочет подбородок. Черт побери, а я-то, олух, даже не погладил ее утром, стоило только руку протянуть — и вот она, ее светлая головка, даже не приласкался, дурак, а ведь мог, какая-то там секунда, не смертельно, так нет же, все бегом, бегом...

— Я что-то не понял, какой же лифчик, раз это была перчатка... А! Ясно! — Комар, наконец, приснул. — Меня что сбило, — продолжал он, когда все утихло, — у перчатки пять пальцев, а сосков-то у коровы четыре.

— Идите вы, рассказывать вам! До вас пока дойдет...

— Комара не знаешь? До него, и правда, как до жиrafa доходит.

— До меня-то? Ей-богу, у коровы четыре соска.

Глядя на его простодушное лицо, невозможно было удержаться от улыбки, и все были рады поводу посмеяться, хоть на миг забыть глухую темноту.

— А знаете про сумасшедшего, который думал, что он собака?

Это были любимые Верины анекдоты. Рассказывая их, она щурила глаза и морщила нос, а когда он делал вид, что вовсе не смешно, забавно скалила на него свои маленькие зубки, разделенные посредине щербинкой.

— Подожди-ка, сейчас, как там? А, одного вылечили в сумасшедшем доме, выписали, встречает он на улице врача, тот ему — мол, выздоровели уже, пан Новак, а он говорит, ага, выздоровел, пан доктор, потрогайте, какой у меня нос холодный.

Кто-то хихикнул, но прежней потребности в смехе уже не было: атмосфера разрядилась. Стшалка посветил себе на часы.

— Что, бригадир, конец смены?

— Цикл мы так и не взяли. — Беспечный тон едва дался ему. — Но вторую смену сюда уже не пошлют.

— Не бойсь, за вторую смену здесь вода порабotaет.

— А ты, Зденек, помалкивай и каску надень.

— При чем тут каска? А, понял, я со своими патлами вам бабу напоминаю. Вы уж на меня не бросайтесь, когда мы тут две недели проторчим.

— Нет, все-таки тебе на голову что-то упало,— сорвал-ся Роглена,— четырнадцать дней подыхать от жажды и слушать, как вода льется! Я б сейчас полжизни отдал за кружку бочкового.

...Взять кружку прямо из-под крана, тут же опрокинуть в себя, чтобы в носу пена щипала, а в горле стояла ледяная горечь, придвинуть к себе вторую, третью, утолить жажду и только потом, усевшись за стол, потягивать пиво-ядренное, как хрен.

Олдржишке этого не понять, бабы в этом деле соображают слабо, бутылки-то у нее в холодильнике всегда стоят про запас, весь город прочешет, чтоб достать пльзенское, даже в Гавиржов* сколько раз ездила, но у бутылочного разве тот вкус, а за кухонным столом сидеть — это тебе не в пивной, как ни верти.

Баба она аккуратная, хозяйственная, не привереда и мягкая, как подушка,— все при ней, мозги только куриные, ну ни черта не смыслит. Дескать, жрешь в своем кабаке сардельки тухлые с луком, а я тут стараюсь, рулет пеку с беконом и колбасой, яичко положила, огурчик маринованный. Только на нее замахнешься — не шуми, говорю, а то сейчас съезжу. Не съездишь, ворчит, и на стол накрывает: суп в одной тарелке, второе — на другой, рогастики в плетенке, я ей говорю, ты хоть бутылку не откупоривай, еще раз поставишь стакан с пивом на стол — об стенку разобью. Не разобьешь, посмеивается она, а разобьешь — так за твои же деньги.

Палец ей, чертовке, в рот не клади, умеет она с нашим братом обходиться, надо бы ее к ногтю поприжать, чтоб утихомирилась, пусть знает, меня тоже голыми руками не возьмешь. Но если бы не она — валяться бы мне сейчас под забором или гнить в тюрьме, как отец. Вообще-то, я его толком и не помню, а что помню — так это крик, звон посуды, треск дерева, удары по голове, по спине, больно лупил, куда попало, чем под руку попадется. Была бы мать жива, не дала бы меня в обиду. А что Миладка — не справлялась она с ним, только обнимала меня, собой загораживала, помню, раз бросился я на него как дикий волчонок, бился головой, кусал его руки.

Миладка тоже ничего не понимала, баба опять же, в толк не могла взять, почему меня взбесили синяки на ее руках. Руда, это меня папа, не смей, Руда, он несчастный человек, бог тебя накажет. Вот куриные мозги, как будто

бог уже не наказал меня, послав такого отца. А Миладка, бедняжка, из огня да в полымя, хотела, чтоб у меня был дом, а мне ничего не оставалось как смыться от них, чтобы отец из-за меня совсем ее не прибил. Своей добротой сама себе такую судьбу уготовила, а я только в армии первый раз досыта наелся. Кровать чистую мне первая Олдржишка постелила, ну и употел же я там...

— Хоть и не пиво, но горло смочить сойдет.— Деловой Выметал не растерялся и прихватил с собой фляжку; Роглена, поблагодарив, отхлебнул всего глоток, чтобы всем досталось. Кофе был слабый, приторный.

— Говорю, давайте лучше о бабах.

— Свои дома надоели, а о чужих не стоит.

— А давайте про первую любовь,— предложил Зденек.

— Была она у меня, первая любовь эта,— отозвался Пицмаус,— влюбился я в нее за то, что больно аппетитно от нее шкварками и колбасой пахло, копченой, я в школе как раз за ней сидел, ох и дух же от нее шел — слюнки по подбородку текли.

— Ну, и чем кончилось, сожрал?

— Нет, не сожрал, она только куснуть давала.

— И ты откусил ей руку.

— Дальше слушай, остряк! Выросли мы, школу кончили, а я все о ней думал. Они трактир держали и лавку мясную. Она-то была согласна, а родители обо мне и слышать не хотели. Раз бросил я ей камешком в окно, не знаю, что за стекла такие были, только разлетелось все на тысячу кусочков, да папаше прямо в фарш. Он на меня собак спустил, я деру дал к лесу, влез на дерево, псы внизу аж задыхались от лая, а я со страху, как белка, с ветки на ветку, с одного дерева на другое, собаки там до утра караулили, сам папаша чуть в сосульку не превратился, а я в это время уж преспокойненько дома храпел...

...Все было немножко не так, собаки догнали его, не дав добежать до леса, хозяин едва оттащил их, а потом и сам добавил, даром зад-то был уже голый, собаки заходились от злобы, а мясник знай орал, и другим закажешь, мерзавец, как шляться под окнами у честных людей, я тебе покажу, сволочь такая!

Дело кончилось тем, что оборванный, окровавленный Пицмаус еле доковылял до дому, никому не посмев рассказать о своем злоключении, чтобы, не дай боже, мясник не приписал ему еще и воровство. Скряга проклятый, оплатился он все-таки: фарш пожадничал выбросить, и оба пса, сожрав его, сдохли.

* Город-спутник Острavy.

— А что шкварочница твоя?

— Замуж вышла. Лавку у них все одно в сорок восьмом отобрали.

— Тоже хорошо, представляешь, тебя бы имущества лишили!

Пицмаус недоверчиво взглянул на Зденека и промолчал. «Все равно им больше осталось, чем мне,— подумал он раздраженно,— такие к любой власти приспособятся, только мы каждый раз с пустого места начинаем». Он нащупал в кармане хлеб, но не осмелился его вытащить. Жалковато было, но, главное, боялся, что на смех поднимут — ломтик сала он отрезал тонюсенький. Засунув пальцы в пакетик, отковырнул от корки маленький кусочек: сейчас он незаметно сунет его в рот. Как была бы теперь кстати плоская черная фляжка, там почти половина еще оставалось, но на бегу он выронил ее.

— Что есть то есть,— закончил он смиренно,— ночью все кошки серые.

Он кашлянул и, прикрыв ладонью рот, ловко отправил туда корочку. Так ловко, что заметили почти все.

Шахтеры опять замолчали.

— Скажешь тоже,— прервал Комар короткую мучительную паузу,— кошка это кошка, а баба — это баба. А у бабы знаете что самое красивое?

Все насторожились, в ожидании непристойной шутки.

— Самое красивое у бабы — это ребенок, ребеночек, такой, ну... такой...— Он не мог подобрать подходящего слова и только блаженно вздохнул.— Когда он в ванночке, весь такой голенький, когда он сиську...

— Елки-палки, может, ты и сам у нас баба? Или у тебя с гормонами что-то не того.

— С какими еще гормонами,— испугался Комар,— нет у меня никаких гормонов.

Грохот воды и шум вентиляции снова был заглушен раскатистым смехом.

— Хорошо вам смеяться, а мне — просто не знаю, что с женой делать, как забеременела, ни в какую к себе не подпускает, родила — опять, говорит, не могу, и девчонке-то уже скоро полгода...

— Может, нашла кого, молодая еще.

— Не, она у меня не такая, братан мой за ней приглядывает, он бы мне сразу написал.

— А братану разве нечем?

Старый Пёнтек до боли стиснул Зденеку руку.

— Что нечем?

Только по реакции товарищей Комар все понял, и кровь прилила к его безусому лицу.

— Тебе, Зденда, только бы напакостить в душу.

— Да иди ты, шуток не понимаешь. Я, может, завидую: меня-то никто не ждет.

Комар не способен был сердиться, и опять расплылся:

— Видели бы вы маленькую Павлинку, я карточку покажу, когда выберемся, она у меня всегда при себе.

Зденек подтянул колени ближе к подбородку. Ему казалось, что он подвешен на тонкой нитке, в каком-то холодном пространстве и качается на сквозняке, на семи ветрах, как говорила мать.

«Мать с ума сойдет»,— подумал он с ужасом. В памяти отчетливо всплыло давно забытое воспоминание, так в точности было или что-то дорисовало его воображение, он не знал.

Черная вуаль, черное платье и горы, горы цветов, мать упорно нашаривает под ними гроб, сметает охапки сирени, букеты тюльпанов и нарциссов, все это вянет и издает резкий смешанный аромат, женские пальцы впиваются в черное дерево, мать пытается открыть гроб, всем телом прижимается к нему, люди оттаскивают ее, прикрывают смерть цветущими ветками, а его затапливают под вуаль, в слезы, в ароматы.

Ребенок маленький, о ребенке подумайте, разбирал он, но прошли годы, прежде чем он осознал, что покойником был его отец, а ребенком — он сам. Ничего у матери в жизни больше не будет, бедная, так и останется она одна, ведь он сам умышленно мешал ей устроить жизнь. Сработала безошибочная детская интуиция, и он научился разыгрывать «случайную» встречу на прогулке, прикидывался безумным. Он хороший мальчик, старалась оправдать его мама, это он так, дурака валяет. Трюк действовал безотказно, и кавалеры больше не появлялись.

Теперь ей перевалило за пятьдесят, выглядит она старше, за собой не следит, да я еще добавил, когда исключили из института, она до сих пор опомниться не может, все переживает, от людей прячется, ее воля — ушла бы, как кротиха, под землю, чтоб никого не встречать, не давать лишнего повода для разговоров.

Сама она во всем виновата, и в том, что меня исключили — тоже, я ее никогда ни в чем не упрекал, все равно ничего бы не поняла, она научила меня свято чтить память отца, по всей квартире иконами развесила его портреты,

под одним, особенно красочным, зимой и летом стояли цветы и горела лампадка.

Я был еще маленьким, мать уходила на работу, и ничто не мешало мне вглядываться в раскрашенное лицо героя, его ярко-синие глаза, мерцающее пламя оживляло его, отец улыбался, он был молодой и красивый, всегда был с нами. На стене дома была высечена его фамилия, та же, что носил Зденек, это отличало его от других детей, чьи фамилии не увековечивались на мемориальных досках, куда по праздникам вешали цветочный венок и ставили почетный пионерский караул. Бывало, он и сам стоял здесь, подтянутый, в белой рубашке с красным галстуком, отдавая пионерский салют. Глядя на него из окошка, мать заливалась слезами, они всегда были у нее наготове и поэтому быстро перестали его трогать, она «выплакала» для него особый паек, санаторий, институт, всегда готовая бороться за свое единственное чадо, оружием были слезы, щитом — отцовское имя.

Но вот в школе задали это злополучное сочинение, трагикомическим образом перевернувшее всю его жизнь, это была та самая последняя капля, тот самый камешек, который влечет за собой лавину.

Мам, а что папа совершил, какой подвиг?

Разве ты не знаешь, он пошел за молоком для тебя.

За молоком? За каким еще молоком?

Ну, было восстание, кто-то пришел и сказал, что из деревни привезли молоко и хлеб, папа взял бидон и пошел, ты был совсем слабенький. Улицы были засыпаны битым стеклом, я смотрела ему вслед, до сих пор слышу, как стекло хрустит у него под ногами.

Дальше начинались слезы, бесконечные потоки слез.

Но, мама, а подвиг как же?

Я же говорю тебе, всхлипывала мать, он пошел за молоком для тебя. Принес и молоко, и полную сумку хлеба, его ранило осколками в живот уже у самого дома. Он не сразу умер и еще успел поднять бидон так, чтобы молоко не пролилось, когда он падал.

Так вот оно что, оказывается, он ходил за молоком!

Зденеку было четырнадцать, и в его приговоре была вся жестокость молодости, как же, его предали, отобрали все, что позволяло ему держать голову так высоко, не выдержав разочарования, он сломался. Ни о чем не догадываясь, мать продолжала проверять дневник и в нужный момент с помощью проверенного оружия сунула его в институт.

Я никогда не просил ее ради меня идти на жертвы, жила бы себе со своим раскрашенным героем, меня всю жизнь раздражала опека, я всегда старался вырваться из-под нее и с трудом освобождался от липкой лаутины ее любви. Она и здесь меня в покое не оставляет, явилась из Праги прямо в общагу, все у нее в голове перепуталось, общежитие, институт, нашумела тут — теперь позору лет пять не оберешься, но я ей тоже устроил, долго она теперь не решится в поезд сесть.

Вдруг он ужаснулся: возможно, эти грубые слова были последними, которые он сказал ей в жизни.

С виноватой улыбкой Зденек повернулся к Комару:

— Наплюй ты, у баб это бывает, как дите родят, ничего не знают, кроме материнских обязанностей.

— Ты где учился, в медицинском?

— Нет, в архитектурном.

— А говоришь, будто что понимаешь.

— Ну, в чем в чем, а в бабах я понимаю, пражанин все-таки.

Он хохотнул, но рассмеяться не смог — охваченный страшной усталостью. Теперь хотелось полной темноты, залезть куда-нибудь, как жук под камень, и замереть там.

— Первая любовь и у меня была, — выжал из себя Пёнте, — вы, разгильдяи, небось и не поверите.

— Это при австро-венгерском императоре?

— Точно, угадал, Эрих. В те времена еще были потаскухи...

— Как будто теперь их мало.

— Я о тех говорю, для которых это было ремесло, одни занимались им в доме с красным фонарем, другие, самые дешевые, в подворотню водили. Мы как раз жили рядом с заводом, и в том месте, где в реку спускали теплую воду, у них было что-то вроде купаленки. Они там волосы мыли, в чем мать родила, одна другой спину терли, а мы, молодняк, бегали за ними подглядывать, а кто, бывало, и потешиться задарма. Я тогда еще совсем мальчонка был, штаны носил веревкой подвязанные, увязался как-то потихоньку за старшими, гнали они меня, гнали, и тут — нате вам! — вылезит из воды, ну, вылитая Ева, только что фиговым листочком не прикрытая. Но все остальное — на месте, и спереди, и сзади, никогда я такого не видывал, глаза у меня чуть не выскочили.

Он замолчал, не в силах описать чудесное, неземное видение. На фоне серого пара, серого дыма, серого леса дымовых труб и градирен — розовая женщина, круглая, теп-

лая в этом холодном, суровом городе, она росла и росла на его глазах, закрывая уже весь горизонт и раскаляя его до тех пор, пока на небе не взошла, наконец, розовая заря.

— Дальше-то что, дед?

— Дальше? Дальше потянуло меня к ней, как за ниточку, иду босиком, ближе подхожу, ближе. Дать тебе крейцер, малыш, не хочешь крейцер, а что же ты хочешь? Хочу жениться на вас, когда вырасту. Все вокруг умирают со смеху, а у нее слезы как выступают на глазах, да как полюбят. Говорю я ей это, а она уже почти легла на землю, прижимается своим заплаканным лицом к моей грязной ноге, я вырвался от нее и побежал, а больше всего крейцер было жалко, что не взял.

— А вы когда-нибудь еще встречались?

— Да ведь я бы ее и не узнал. Но на то место я больше никогда не решался вернуться, мне все казалось, будто она там и осталась, боялся я ее громадного тела, жара, которым она меня тогда обдала. Но такую бабу, скажу вам, я уже в жизни никогда больше не видел — вот такая была здоровенная...

— А, может, это вы были маленький?

Дед сплюнул.

— Все может быть.

Он вглядывался в темноту. Но теплое, розовое видение растаяло. Свою жену он знал только на ощупь — стеснялась она его. В маленькой, темной каморке любить по-другому было невозможно. Без света, без слов, отчаянно прижавшись друг к другу в темноте, спасая один другого от невыносимой тоски.

Первая любовь, подумал Михал, такая идиотская идея могла прийти в голову только Зденде. Я и вспомнить не могу, какая она была, первая эта любовь, Верка, проклятая, стерла все прошлое одним бессознательным движением. Юбку натянула на колени и тут же испуганно вскочила. Глаза удивленные, непонимающие, пальцы запустила в волосы, до чего же она была живая, естественная, ему показалось, что он и женщин-то настоящих до нее не видел.

Михал тогда испугался, что мираж рассеется, девушка исчезнет, и не спускал с нее глаз. Не связывайся, посоветовал ему Ярек на кухне, пикнуть не успеешь — она тебя облапошит, бабенка дошлая.

Михал взглянул на Стшалку, будто напряженное лицо друга могло дать ему ответ на загадку: ни Вера, ни Ярек никогда не сознавались, чем вызвана их неприязнь друг к

другу. Михал ничего не мог ни понять, ни изменить, но вражда жены и лучшего друга была для него мучительной.

— Ярек!

— Что тебе?

Михал не ответил, не мог же он спросить его при всех. Вдруг все это само собой потеряло значение.

— Господи, что это? — закричал кто-то в темноте, — чувствуете?

Вопрос был лишним, из вентиляционной трубы с потоком воздуха хлынул отвратительный, не поддающийся описанию запах гнилой капусты.

— Меркапан*, — глухо сказал Стшалка, — только бежать нам некуда.

Старый Пёнтек перекрестился:

— Река, ребята, река это.

Все вскочили. Одна из ламп перевернулась.

X

Вера переделалась в старенькое платье, налила в ведро горячей воды. Она мыла прихожую, сидя на корточках, чтобы не стереть колени. Войдя в раж, вышла за порог и, спускаясь по лестнице, протира-
ла теперь одну ступеньку за другой.

Нет, это не Михал, не его шаги, она оглянулась, вошел кто-то из рабочих с соседней стройки.

— Я подожду, молодая пани, могу и внизу постоять. Вид отсюда прекрасный.

Она засмеялась, выжала тряпку и домыла последние ступеньки. Нагибаться старалась не слишком низко. Тильной стороной руки вытерла лоб, в доме было жарко, даже на лестничных клетках.

— А если дверь у вас захлопнется?

Она побряцала ключом на кружочке.

— Я вижу, у вас все предусмотрено. Мы живем на самом верху, неделя, как переехали.

— Это у вас попугайчики?

— Все-то вы знаете. Фамилия моя Клайн, я здесь на стройке работаю. По крайней мере, до работы недалеко.

— Колигова.

Она вытерла руку о платье, прежде чем протянуть ему. Он осторожно пожал ее — сам был порядком измазан.

* Воздушная смесь с резким запахом, нагнетаемая в шахту для оповещения об аварии.

Разулся и стал подниматься по лестнице прямо в носках.

— Во как меня выдрессировали, а! — крикнул он ей уже сверху. — Если надумаете взять попугайчика для детишек, заходите.

— Нет у меня детей.

— А хотите?

— Нет, ни детей, ни попугайчиков.

Вера бросила тряпку в ведро и взбежала наверх. За разговором с интересом следили из нескольких едва открытых дверей. До сих пор ни с кем в доме она не подружилась, мать внушала ей, чтоб не позволяла соседям себе в душу лезть.

Вера хлопнула за собой дверь. Поставила на место ведро, вытерла пыль и принялась пылесосить, из-за чего чуть было не прослушала телефонный звонок. Перепрыгнув через пылесос, она взяла трубку и закатила глаза — жаль, что подняла, Рогленша час будет трепаться.

— Я, Верушка, что звоню, ты правда на пятницу билеты достала?

— Достала, достала. Завтра пошлю с Михалом, не будем же мы друг друга перед театром ждать!

— А что завтра, «Русалка»?

— Ну да, посмотрите в «Вечерке».

— Да я вам верю, Верушка. Мне так хочется пойти, а Руда что-то не очень, может, ваш его уговорит, а?

— Трудно сказать.

Доставать билеты да еще уговаривать! В театр собираются, как в альпинистский поход.

— Я ужасно люблю то место, где Русалка поет о луне, и потом, как он ее в конце ищет и называет «лань моя белая», я прямо реву всегда. Руда ведь мне даже проигрыватель купил, ну, и пластинку мне эту хотелось, «Месяц на небе», вы же знаете Руду, он, ненормальный, принес мне всю оперу целиком, но водяной там тоже ничего поет, красивая музыка и грустная.

— Ага, — поддакнула Вера, оторвав трубку от уха, ей казалось, там что-то трещит, — у меня сейчас времени нет, надо пылесосить.

— А я кнедлики варю, грудинку делаю с подливкой, Руда любит, когда я туда хрен кладу, сметану и хрен я перед самой подачей добавляю, вкусотища, я все только пробую — и то толстею, мамочки, мы тут болтаем, а Руда уже

вот-вот придет. Только б дружки его в ливную не затащили.

— Будем надеяться. Так что до свиданья, пани Рогленова!

— Опять вы «пани Рогленова»! Я себя, Верушка, сразу такой старухой чувствую. Называйте меня просто Олдришка, вы же знаете, мой Руда и ваш Михал почти в один день родились.

Очень может быть, но ты-то мне чуть ли не в матери годишься.

Вера раздраженно бросила трубку. Что ей от меня надо, только болтовни ее не хватало для полного счастья. Интересно, сколько ей, тридцать пять как минимум. Да и ему не двадцать, коренастый крепыш, ноги колесом, кожа на лице, как кора дерева, угольная пыль въелась в морщины, моя бы воля — отдраила бы его как-нибудь вечером щеткой.

Она включила пылесос, нехотя прошла по ковру в спальне: энтузиазма явно поубавилось. Вера поняла, что все ее домашние старания сводятся к одному знаменателю — оттянуть момент, когда придется-таки сесть за учебники. Учеба пугала ее, третий семестр еле кончила — в сентябре она готовилась к свадьбе, в октябре выходила замуж, потом переезжали, обставляли квартиру, так все и пошло: бегать по магазинам, что-то доставать, убирать, вечером где-нибудь развлекаться, утром глаз не продрать — до учебы ли тут, что и говорить.

Вера сидела на тахте, окончательно сникнув, ни с того ни с сего на нее нашла тоска и чисто прибранная квартира показалась ей опустевшей.

Да ведь еще утром здесь все было залито солнцем, она проснулась в таком хорошем настроении. Бывает же — день еще не кончился, а на душе отвратительно. Свидание в тумане — зачем оно мне было нужно?

Пошла бы лучше на семинар, контрольную можно было списать, Дан подкинул бы шпаргалку. Может, права Милушка: плюнуть на институт и зарабатывать деньги, восемь часов оттрубишь, зато потом — никаких тебе нервов. Во, Милушка была бы довольна, не говоря уже о маме, та бы просто ликовала — разве я тебе, Вера, не говорила, ведь говорила же, но ты никогда мать не слушаешь. Своими «я так и знала» и «я же говорила» она всю семью может довести до белого каления.

Можно все на медвежонка свалить, мать сама подсказала этот вариант. Она уже и Михала потихонечку шпы-

няет, никогда не простит ему, что обманулась в его внешности. Всю жизнь гордилась, что с первого взгляда видит людей насквозь.

Какой замечательный парень, Верушка, вот и держись за него. А манеры какие, сразу видно: интеллигент.

Шахтер он, мама.

Братишка прыснул. И тут же получил затрещину.

Зачем ей инженер, сказал отец, мало в семье одного инженера?

Мать припечатала отца к стулу презрительным взглядом.

Это ты-то инженер? Вера не посудомойка, запомни, сторож, не для того мы ее учим, чтоб она за шахтера вышла.

Милушка тоже вышла замуж за шахтера, а вы мне ее всегда в пример ставили.

Милушка, воскликнула мать, вложив в это имя все свое пренебрежение, да ты только посмотри на нее и на себя! И потом, Милушка даже девятилетку не закончила.

Через несколько дней разговор был продолжен; прошел он спокойно, обаяние и выдержка Михала гасили вздымавшиеся было волны, мать то и дело пыталась переходить в атаку, но в итоге довольствовалась ехидными всплесками.

Голову на отсечение, вы ей даже доучиться не дадите. Это почему же?

Чтобы она не оказалась умнее вас, любой мужик этого боится больше всего.

Она и так умнее, с достоинством произнес Михал, много и умней, и красивей меня, меня это не смущает, ничего, ничего.

Чего-чего, а ничего, они любили эту игру, но только вдвоем, без свидетелей, в теплых утробах своей квартиры, куда они вольны были никого не пускать, где никто не мог застичнуть их врасплох.

Прямо за окном было небо, Вера подошла и засмотрелась на серый гриб дыма над городом. Скоро здесь будут дома, ими застроят все до самой Одры и даже дальше, они окружают Свинов* и соединят нас с Забржевом*, новостройки закроют этот вид и, вытеснив старые, облупившиеся домишки рабочих районов, окрасят город в светлосерый цвет.

Сердце защемило, показалось, что ее плотным кольцом

* Микрорайоны Острawy.

обступили дома, населенные тысячами людей, она ухватилась за подоконник, скорее всего, голова закружилась от высоты, ведь выросла она на первом этаже.

А ты ради меня не пойдешь учиться, спросила она Михала, когда они остались одни.

Зачем же? Два года на подготовку, пять лет в институте, в общей сложности семь лет получается — как в библии. Многовато.

Ради меня, ты считаешь, не стоит?

Ради тебя стоит два раза по семь, но ведь я уже бросал. Что бросал?

Да учебу эту. Но это длинная и грустная история.

Он посерьезнел. Лицо застыло, Михал весь ушел в себя. У него были свои тайны, в которые он никого не посвящал.

Тоска сменилась усталостью. На кухне Вера налила из-под крана воды и выпила стакан залпом. Странное, неприятное ощущение не проходило. Это просто жажда. Жажда после зельца. Она снова открыла кран. Смочив губы, резким движением поставила стакан на место.

Невыносимо это ожидание. И одиночество.

— Милуш, это ты? Милуш? Какой у тебя голос странный.

— У меня рот набит.

— Чем?

— Штуделем. Изжога от него ужасная, а остановиться не могу.

— Мне Рогленша звонила.

— Что ей нужно?

— Да в общем-то ничего, сообщила, что готовит Руде подливку с хреном.

Милушка хихикнула.

— Да он и шей пустых не стоит. А про нее я, знаешь, что слышала? Тут в «Стекло-Фарфор» пришла одна тетка, она живет в том доме, где Рогленша жила раньше, еще не замужем, она тогда была Вртихова, как мир все-таки тесен, слово за слово, она мне и рассказывает, что та еще в школе с мальчишками забавлялась, в подворотне, ну, понимаешь.

— Да ну, глупость какая, наверняка просто сплетни, Милуш, небось, между собой поругались, вот она теперь на нее и наговаривает.

— А ты дома у Рогленши когда-нибудь была? У нее такая чистота, говорят, такие всегда ужасные чистюли.

— Можно подумать, ты дома не убираешься!

— Но у них это просто болезнь, все время что-нибудь мыть. А знаешь, сколько ей лет? Тридцать семь, представляешь? Просто удивляюсь, и что этот Роглена в ней нашел, он же тогда совсем молоденький был.

— Пусть радуется, что хоть такая за него пошла. Губища у него — как плугом перепахали. Или как будто гранатой взорвали.

— Зато он работяга, Ярек его очень уважает.

— Откуда ты знаешь? Можно подумать, вечером в постели вы бригаду обсуждаете.

Вера сама нарушила гробовое молчание коротким смешком. И вдруг почувствовала зависть, у них с Михалом до разговоров дело не доходило, каждый раз мешало одно и то же. Причина, правда, была приятная, ничего не скажешь.

— Алло, ты еще слушаешь?

— Угу, — ответила Милушка сдержанно, — а звонишь-то ты почему?

— Напомнить, что в пятницу в театр идем.

— Помню я. Как ты считаешь, можно идти в этой штучке, которую я себе сварганила?

— В «Остраванке» продается красивое платье для беременных. Клетка «пепита», спереди складка, как бы тебе объяснить, в общем, за две сотни.

— Я что, того? Покупать платье на две недели, скажешь тоже. Больше никаких новостей?

— Не-а. Пока.

Можно было бы и не звонить. Разговор оставил неприятный осадок. Всегда приходится опускаться до ее уровня. Вере казалось, Милушка запачкала ее своими сплетнями. И ведь такая добрая, отзывчивая, если бы не ее отвратительная привычка судить обо всем налево и направо! А причина — все та же оскорбленная невинность, ладно еще, были бы какие-нибудь убеждения, а то просто отвращение к мужикам, стоило ли себя насиловать, раз уж все такие гадкие!

Своего Янечека она взяла только полнейшим, ненаигранным отсутствием какого-либо интереса к нему, конечно, не последнюю роль в этой истории сыграла я.

Это была та еще прогулочка. Поддавшись на Милушкино нытье, Вера отменила свидание, и они вдвоем отправились на Радгошть*. После прохладного утра день неожиданно выдался жаркий, они снимали с себя все, что мож-

но было, с полными руками друг за дружкой запрыгнули на сиденья фуникулера и поехали вверх. Вера была здесь впервые, ее охватил восторг, они ехали высоко над лугом, над лесом, она разглядывала, что там, внизу, за ней, перед ней и вверху, в небе.

Милушка плыла на некотором расстоянии от нее, в следующем кресле. Что ты все время вертишься, кричала она сердито, держи крепче вещи.

Отличная была идея — засунуть свитер в продуктовую сетку, но куртка чуть было не упала, она схватила ее за другой конец, из карманов посыпалось содержимое. Маленьким парашютиком опускался красный носовой платок, пока его не поглотила зелень.

Ты платок посеяла, Вера, больше ничего не упало?

Расческа еще.

Моя? Доверяй тебе после этого!

Вера боролась с искушением сказать еще и о кошельке, но подруга была довольно далеко, тихо не получилось бы, а Милушкин ор и так был слышен на всю округу. Кроме того, из-за двадцати крон она могла просто гробануться вниз и свернуть себе шею. Разоралась из-за какой паршивой расчески, а у самой перманент, вон, через кусты пролезь — и готова прическа.

На обратном пути Вера сказала все как есть, скрывать больше не имело смысла, мало того, что они помирали от жажды, надо было еще купить билеты на электричку. Сил с тобой никаких нету, понесло Милушку, как я могла доверить тебе деньги, надо было самой спрятать, просто не понимаю, как это можно все вытряхнуть из кармана, ты хуже ребенка малого, домой теперь придется пешком топать, попуткой ни за что не поеду, я знаю, тебе ничего не стоит уехать одной и бросить меня здесь, шипела она, как змея, стараясь на людях говорить тише, но чуть было не задыхнулась, прямо-таки раздуваясь от злости. Вера не оправдывалась, она смотрела вокруг, нет ли случайно кого из знакомых, веря в свою счастливую звезду.

И тут на глаза ей попался одинокий парень с худым лицом, покрытым серым налетом, с легкой тенью вокруг глаз. Тихий, уставший, он казался человеком, несомненно, надежным и порядочным.

Пропуская мимо ушей Милушкино шипенье, Вера со смущенной улыбкой обратилась к незнакомцу.

Не сердитесь, я кошелек потеряла, вы не дадите нам займы двадцать крон, а то придется топать до Остравы пешком.

* Зона отдыха вблизи Остравы.

Он втянул голову в плечи, просьба явно возымела действие. А может, его растрогали Милушкины слезы.

На двадцати кронах свет клином не сошелся, ответил он многозначительно.

Пусть адрес оставит, всхлипнула у стены Милушка.

Адрес оставьте, покорно повторила Вера.

А можно пригласить вас на мороженое?

Скажи ему, что мы не из таких.

Он улыбнулся, решив обойтись без посредника.

Из каких таких «не из таких», пошутил он, но Милушка тут же повернулась к нему спиной.

Кличку ему она придумала сама (теперь она не призналась бы в этом даже под пыткой), со всеми тебе надо язык почесать, пилила она Веру уже в поезде, живет в общешитии, приехал неизвестно откуда, прекрати ему улыбаться, заметила, как он на черепаху смахивает, голову все время, как в панцирь, прячет.

Вернуть долг она решила сама (на тебя, Верка, только понадейся!), сохранив всю операцию в полной тайне. Каким образом удалось Яреку в этой убежденной мужененавистнице зачать ребеночка, навсегда останется загадкой.

Всякая ерунда лезет в голову, рассердилась на себя Вера, заниматься надо, а мне только повод дай. Она перебралась в спальню, там стоял ее письменный стол (мать сказала — выброшенные деньги), вытряхнула из сумки кучу книг, конспектов, институтских пособий. Все делаю вид перед собой, а главное, перед Михалом, что я такая умная, такая значительная, а ведь ни черта не знаю.

Она взглянула на часы — чей-то уродливый свадебный подарок. На машине Михал будет здесь через минутку-две.

XI

Когда снизу доложили, что насосы вышли из строя, всем стало ясно: единственный выход — эвакуировать шахту. Главный инженер побелел, а начальник шахты побагровел, но подумали они об одном и том же и лишь обменялись коротким взглядом.

— Световую сигнализацию и меркаптан, — проговорил, наконец, главный инженер.

— Я сам всех обзвоню, — предложил Гавлик, — пойду к себе.

Он встал и, пошатнувшись, как пьяный, боком задел

дверь. Но сейчас он не замечал ничего. В коридоре перед ним возник щуплый, совершенно черный шахтер.

Вид у Иожина был жалкий, угольная пыль размазана по лицу со слезами, нос он утирал почерневшим рукавом, глаза молили только об одном.

— Потом, — отстранил его директор и ворвался в свою приемную.

Секретарша встала.

— Чем помочь? Я могу остаться, домой позвонила.

Ее участие лишь усилило ощущение безнадежности.

— Комбинат, обком партии, райком, министерство энергетики... подождите...

Крутанув до отказа кран, он напился прямо из ладоней, даже не заметив, что весь забрызгался. Хельга поставила рядом с телефоном фруктовый сок, но он к нему не притронулся. Вперив невидящий взгляд в три розовые гвоздики, он докладывал об эвакуации по всем инстанциям. Тонкие стебли гнулись под тяжестью цветков, нежно окрашенные лепестки с растрепанными краями подрагивали, когда он нервно барабанил по столу пальцами, несколько пожелтевших иголок аспарагуса осыпались, он проводил их все тем же застывшим взглядом: за свесившимися головками цветов ему виделся его подземный город, над которым нависла смертельная опасность.

Вместе с воздушной струей ужасающий смрад из разбитых ампул проникал на каждое рабочее место, в каждый забой. Свет замигал и погас. Люди мгновенно кончали работу, выключали машины, откладывали в сторону инструменты, останавливали рудничные электровозы. Бригадиры звонили с ближайших телефонов и, получив от диспетчера короткий приказ, уводили своих людей запасным выходом через вентиляционный ствол на южной границе шахтного поля.

Главный инженер Адамчик лично руководил эвакуацией, голос звучал спокойно, словно проводилась учебная тревога. Его лицо уже давно приобрело обычный оттенок и ничем не выдавало волнения. Где-то глубоко в сознании, вне круга трезвых мыслей, билась крылышками хрупкая надежда, плотно опутанная паутиной сомнений, слабый полумертвый мотылек, прибить которого не поднималась рука: может, среди многих голосов снизу отзовется тот самый, единственный, и снимет со всех невыносимую тяжесть.

Наверх Стшалка уже не может дать о себе знать, на слепом стволе телефон только внутренний. Ему остается

позвонить в машинное отделение, если кабели еще не испорчены водой, горноспасатели услышат его.

Второй робкий мотылек надежды, трепеща светящимися крылышками, искорками пробивал темную безнадежность всех сообщений снизу.

В машинном отделении нечем было дышать, горноспасатели в своих респираторах с трудом передвигались по пояс в воде. Она пока не прибывала, стекая по квершлагу на нижний горизонт, постепенно подступая к стволу. Электрики шаг за шагом проходили изоляцию, надеясь привести в движение лебедку. Даже водонепроницаемый прожектор, установленный с такими трудностями, не мог пробить сплошную черноту воды. Клеть стояла. На нее с грохотом обрушивался водопад, сверху, с третьего горизонта, где, может быть, еще ждали люди.

Конечно, ждали. И мысли никто не допускал, что ждать уже некому.

Через два часа горноспасателям пришлось смениться, операции не видно было конца, они уходили, почти ничего не сделав, но ни респираторы, ни инструкции не позволяли им задерживаться дольше.

За все время спасательных работ они ни на шаг не приблизились к ловушке, которая, захлопнувшись, отрезала от мира бригаду Стшалки, один за другим уходили они понуро, словно похоронная процессия. Оказавшись в безопасности, сняв с себя спасательные аппараты, превращались в обычных, уставших людей. Несмотря на двухчасовое вынужденное молчание, им теперь было не до разговоров.

— Быстро отдохнуть, через час обратно.

Утолив жажду, они даже не притрагивались к приготовленной для них еде и пытались хоть на какое-то время заснуть. Но, закрывая глаза, оказывались на гребне темной воды, она разрушала их неглубокий сон, вынося на границу реальности.

Три водолаза, преодолевая напор воды, пытались проникнуть в запасной ствол. Они скорее чувствовали, чем видели друг друга, на ощупь двигаясь в потоке, несущем гибель, связанные веревкой не на жизнь, а на смерть. Один за другим они пробовали подняться вверх по скобам, но для их снаряжения ствол был слишком узок.

Бригада за бригадой расходилась от копра шахтеры в своих пропыленных, черных спецовках, с горящими лампами в руках. Их принимала обычная, ничуть не изменившаяся в этот хмурый день улица. Сегодня она была им чу-

гой; ничего не зная об их трагедии, встречала их смехом, беззаботным гомоном, звоном трамваев, детскими голосами, шумом автомобильных моторов. Они шли тревожными, притихшими группками, не смешиваясь с толпой, объединенные своей тайной. Подойдя к остановке, кое-кто из них вскочил на подножку трамвая, стараясь не запачкать пассажиров.

Сегодня никто не захотел прикоснуться к ним на счастье.

Когда первые из горняков начали подходить к шахте, вторая смена была уже на полпути домой. На шахте остались только дирекция и горноспасатели.

Гавлик покончил со звонками, ему показалось, что в этих разговорах вместе с голосом из него вытекла вся кровь. Он чувствовал себя совершенно опустошенным, почти невменяемым от удара, нанесенного ему шахтой. Он был готов к любым бедам, умел смотреть им прямо в лицо, но такого удара стихии не ожидал.

Когда-то, будучи совсем мальчишкой, он начинал именно на этой шахте, здесь впервые спустился под землю; ошеломленному, растерявшемуся, шахта казалась ему невероятно огромной, полной тайн и опасностей. Дома в нижнем ящике стола до сих пор хранится несколько окаменевших отпечатков папоротника и блестящих кусочков угля. Сколько раз, натываясь на них, собирался выбросить, да рука так и не поднялась.

Потом он работал на других шахтах, но своему назначению сюда был рад; каждому приятно вернуться начальником в те места, где когда-то ты был на побегушках. Шахта разочаровала, она показалась маленькой, бедной, плохо оснащенной. И все-таки Гавлик любил ее, хотел подтянуть, оборудовать, заставить работать, хотел, чтобы она распахнула недра, как своему. И на тебе — такой сюрприз.

— Товарищ директор, разрешите мне спуститься вниз. Молящие глазищи на комично маленьком лице.

— Что ты хочешь?

— Вниз. Разрешите мне спуститься.

— Спасательными работами руководит главный инженер.

— Я знаю, он меня не пускает.

— Он и права не имеет.

— Я обязательно их найду, товарищ директор, обязательно.

Гавлик отрицательно покачал головой.

— Я должен, товарищ директор, должен туда попасть, ведь я с ними до последнего был. Должен я, и все.

— Должен! Это проще всего сказать. Думаешь, я сижу, не дергаюсь? Да я б сейчас сам спустился и черпал бы воду прямо руками. Но закон у нас здесь, парень, железный. И уж если его соблюдать, вниз тебе никак не попасть.

— Да я до них даже на ощупь дойду. Я обязательно найду, ведь это же моя бригада.

Директор горько усмехнулся:

— Твоя такая же, как и моя, понял?

Сейчас бы вытряхнуть его отсюда, этот страдальческий взгляд и во сне мне покоя не даст. Теперь мне во сне чего только не приснится! Как будто я виноват, что у Лишчара желчный пузырь прихватило и он поднялся наверх, к врачу, в самый неподходящий момент — за час до катастрофы. Сейчас-то он тоже рвется вниз, весь скрюченный, напичканный таблетками, после укола вералгина в задницу; приспичило ему вниз, нет чтоб сидеть там, когда нужно! Из-за его дурацких камней (давно пора их удалить, трус!) теперь беды не оберешься.

Впрочем, беду он вряд ли бы отвел, разве что предупредил бы вовремя об опасности — это его прямая обязанность.

Безотчетная ярость, с которой он было набросился на Лишчара, сменилась снисходительным сочувствием к пожелтевшему, убитому происшедшим инспектору.

— Как ты оттуда выбрался? — спросил Гавлик Йожина.

— Когда появились вода и вонь, меня послали за инженером.

— Почему же вы сразу не ушли, — неожиданно сорвался директор, — почему, черт вас возьми, вы что, думали, эту дырку пальцем можно заткнуть или еще чем!

Йожка поднял на него глаза, полные слез.

— Вода льет всюю, а они, видите ли, инженера ищут!

— Она тогда еще не лила, ручеек тек маленький такой, а вонь — так мы думали... — Йожка густо покраснел, не мог же он выражаться при директоре, и стал судорожно сообщать, как бы поприличнее сказать, — ... что Медведь воздух испортил.

«Медведь осёл», мелькнула в памяти загадочная надпись на красной «Шкоде».

Директор закрыл лицо руками, потер щеки и громко выдохнул.

— Но спуститься я обязательно должен, товарищ директор, они меня ждут.

— Знаешь что? Поди умойся, а потом найди меня, может быть, вспомнишь еще что-нибудь важное.

Он отодвинул парнишку в сторону и, не говоря больше ни слова, направился в диспетчерскую в надежде хоть чем-нибудь подогреть едва теплившуюся надежду. Но каждое сообщение убивало наповал: приток воды не ослабевает, воздух становится ядовитым от сероводорода, концентрация сероводорода повышается, о бригаде Стшалки — ни слуху ни духу.

Господи, откуда же льет, откуда столько воды, ведь не море же там внизу. Вдруг он в ужасе замер, перед глазами возникла Одра, ее темные, маслянистые воды неторопливо омывали шахту.

Он наклонился к Адамчику:

— А река? Может, это река?

— Исключается.

«Он считает меня идиотом», — подумал Гавлик и спросил построже:

— А что же это? Ведь старая выработка дальше, в стороне.

Главный пожал плечами. Прислушался к голосам шахты.

— Говорит Прохазка. Мы попытались подняться по стволу с самоспасателем СК-4. Я дал отбой, у одного из наших респиратор поврежден, узко очень. Мы его эвакуировали в безопасное место.

— Попробуете еще раз?

— Риск слишком велик. И аппараты для пострадавших все равно не протаскать.

— Мы все время пытаемся запустить подъемный механизм.

— Пусть поторопятся! И найдите машиниста подъема, Германа! — Главный повернул к начальнику изможденное лицо. — Нет, река не может быть, слишком они глубоко. Дно мы летом щупали, в журнале есть запись. И георазведка была придирчивая.

Он не высказал того, что так и напрашивалось само собой. Он был решительно против разработки пласта между третьим и четвертым горизонтами, ни за что с этим решением не соглашался. Даже в оккупацию, во время повального грабежа, никто не притронулся к целику, хотя бы и потому, что чешские шахтеры берегли уголь для будущего, но, может быть, у них были и другие причины. Пом-

ня это, Адамчик изобретал все новые контраргументы, «ставил палки в колеса», по выражению бывшего директора.

Гавлик отлично понял, что скрывается за словами «придирчивая», и по достоинству оценил тонкость, с которой инженер напомнил о своих тогдашних сомнениях. Испытывает ли он теперь злорадство? Хотя, что на него наговаривать, на самом деле он вовсе не из тех, кто тормозит дело, да и не время было сводить счеты. Сейчас они были товарищами по несчастью.

Уходя, он в дверях столкнулся с бывшим директором Кухтой.

— А я тебя как раз вспоминал.

— Надеюсь, не последними словами. Внизу кто-нибудь остался?

— Эвакуация шахты пока не закончена,— сухо отчитался Адамчик, даже не оглянувшись.

Обстановка сразу накалилась.

— Зайдем ко мне, не забыл дорожку-то?

Они вышли. Гавлик крепко взял его за локоть.

— Ты не думай, что я пришел вас контролировать, но и в беде тебя бросать тоже не собираюсь. Моя ведь была идея, еле отстоял.

— Раз я твое детище усыновил, теперь оно целиком на моей шее, тут уж ничего не поделаешь.

О своем комфорте Гавлик заботился мало, и за полгода ни в приемной, ни в кабинете ничего не изменилось. Все было на прежних местах, и у Кухты на миг возникло ощущение, что он вернулся домой, в свою крепость. Хельга улыбнулась ему, заливая в чашки кипяток. Кофе источал пронзительный аромат.

— Будете, товарищ директор?

Она смотрела на Кухту, и Гавлика это задело. Он отпил из стакана сок, к которому не притронулся раньше.

— Отнесите кофе в диспетчерскую, а то у нас там главный совсем скиснет,— распорядился он; ему хотелось продемонстрировать своему предшественнику, что у них с Адамчиком вполне приличные отношения, и тем самым как бы уколоть его в ответ.— А потом съездите с водителем, купите что-нибудь поесть.

Он отдал ей все деньги.

— Я могу взять из кассы...

— Идите.

Дверь в просторный директорский кабинет осталась распахнутой. На столе лежали планы горных работ. Ста-

рые выработки уходили далеко от слепого ствола и не представляли никакой опасности. Гавлик и Кухта склонились над листами.

«Бумага все выдержит»,— подумал Гавлик, беря в руки журнал водного режима. О реке он больше не спрашивал.

— Эвакуация шахты закончена,— тихо отрапортовал техник-инспектор Беранек.

Погруженные в раздумья, они не расслышали его слов.

— Что? — спокойно переспросил Гавлик.

Беранек первым принял удар, пока директор с главным инженером были на совещании по технике безопасности, он и распорядился принять спасательные меры.

— Эвакуация закончена.

По его глуховатому голосу и интонации сразу стало ясно, что чуда не произошло.

В руке у него был листок бумаги.

— Сколько?

— Как и предполагали.

В ламповой не досчитались восьми светильников. В раздевалке осталось восемь костюмов; поднятые к потолку, они болтались, как висельники.

— Мы прорвемся! Мы должны к ним прорваться!

Гавлик несколько устыдился столь громкого проявления своих чувств, он знал, что все всё понимают и никакие эмоции тут не помогут.

Беранек молча положил список на стол. Порядковые номера и имена.

Директор, отведя бумагу подальше от глаз, прочитал: Стшалка Ярослав, Колига Михал, Выметал Эрих, Роглена Рудольф, Пёнтек Антонин, Пицмаус Ян, Офнер Франтишек, Коуба Зденек.

Имена почти ничего ему не говорили, но каждое из них болезненно отпечатывалось в сознании.

В этот момент вахтер поднял слагбаум. Приехали горноспасатели и водолазы из Польши, из соседних Катовиц.

XII

Ч борка исчерпала порыв небывалого усердия. Не последней причиной Вериных стараний был капитан, здорово она его отбрила, правда, свидание не стоило того, чтобы на него ходить.

Она чувствовала себя виноватой. Устроилась в кресле

с немецким словариком в руках. Прикрыла левую лопатку.

Орех. Твердый орешек. Колоть орехи. Вот глупость какая. Неужели я буду говорить с кем-нибудь о колке орехов? О колке или о коленье? Хороша из меня будет учительница! Орех. Опять орех? Ну да, Nuss и Nussbaum, как у них все сложно, обходимся же мы одним словом, у нас даже есть пес Орех*. Интересно, а как по-немецки гриб-подорешник? Nusspilze или Nusspilzen? Я бы сейчас не отказалась. Мать Михала как-то собрала нам целый ящик солений-варений. Рецепты вложила, наивная женщина. Вкуснее всего были все-таки грибы.

Вера выдвинула ящик, свой тайный «энзе». Шаром покати. Обнаружив за окном начатую сгущенку, сунула в банку палец и облизала его. Пошла на кухню, высыпала в полупустую жестянку какао и долила рому. Ничего, довольно вкусно.

Опять забравшись в кресло, начала повторять слова, то и дело облизывая ложку. Подставила под ноги стул, так было удобнее. Выскоблив «коктейль» до последней капли, окончательно измазавшись липкой тянучкой, пошла сполоснуть руки под краном. И выпить. Принесла стакан в комнату и приняла прежнюю позу. Поворочалась последний раз — со всех сторон обложила себя книгами и уселась поэффектнее.

Михал рот разинет. Пожалееет ее. Мол, ты, бедняжка, все учишься. Только бы он сам вошел, без звонка, а то все впечатление насмарку. Вера выставила из-под юбки коленки. Во время их первой встречи она поступила наоборот, быстро одернула юбку.

Вообще-то скромницей она не была, но когда Ярек зашел в комнату Михала, ей захотелось спрятаться от него, она смутилась неожиданно для самой себя.

К счастью, один носок у Михала был дырявый, из про-reхи выглядывал большой палец, это был повод посмеяться и преодолеть свою скованность.

Ярек не мог скрыть досады, видимо, не ждал увидеть Веру у них в гостях. Он так трогательно оберегал Михала, всячески пытаясь воспрепятствовать их знакомству, не иначе, боялся, что Вера его сглазит, и не скупился на ядовитые реплики в ее адрес. Но ей было хоть бы что, она не поддавалась на провокацию, со снисходительной усмеш-

кой пропуская колкости мимо ушей. И добилась-таки своего: Михал пошел ее провожать.

Увидев красную «Шкоду», села в нее так, словно всю жизнь разъезжала только на машине.

Так вот почему вы ничего не пили. А я-то уж испугалась, что вы трезвенник. Носок дырявый, сам непьющий — это было бы слишком.

По крайней мере, теперь вам ясно, что я холостяк.

Вы так думаете? Станные у вас представления о семейной жизни. Была бы я вашей женой, ходили бы с дырками и на пятках.

Михал засмеялся, наверное, не принял всерьез. И правильно сделал, в дырявых носках он ходил недолго — Вера сразу выбрасывала рвань в мусорное ведро, и он вечно их искал.

Милушка при первом же удобном случае встала грудью, даже домой к ней специально забегала — наверняка у них с Яреком состоялся семейный совет на тему: что делать с Михалом.

Ярек тебя предупреждает: не морочь ему голову.

Кому, Яреку?

Ты прекрасно знаешь кому. Медведь приличный человек.

С каких это пор медведь стал человеком? А я думала, что это животное.

Прибереги шуточки для своих институтских дружков, вспылила Милушка. Что мы, не видели, как ты с ним заигрываешь? Могу поспорить, ты назначила ему свидание.

Проиграешь. Это он мне назначил.

Надеюсь, ты не пойдешь.

Вера полюбовалась новыми лодочками. Знай Милушка их происхождение, лопнула бы от злости.

Почему же не пойду, сама говоришь, приличный человек.

Разве ты не крутишь роман с каким-то там Даном?

Дан — мой друг. Просто сокурсник.

Ах, вот оно что. Просто сокурсник! И машины у него нет, а? И квартиры ему не видать.

А я-то все в толк не возьму, и чего ты за Ярека выско-чила, на какую удочку он тебя поймал.

Прекрати! Это уже хамство с твоей стороны. Все равно Ярек все ему расскажет.

Что он обо мне знает, Ярек твой?

Больше, чем ты думаешь.

* Распространенная в Чехословакии кличка дворняг.

Знаешь, Милуш, иди-ка ты куда подальше. Вместе со своей черепахулечкой.

Сама виновата, не надо было с ней делиться, с этой задницей куриной. Все равно ей не понять, она над своей невинностью тряслась, как теперь над кронами. Это хорошо — подальше положить, да только если можно поближе взять.

...А я лишилась ее так же легко, как носового платочка, расчески и кошелька с чужими деньгами. Даже не знаю, как это получилось.

Мы с Даном карабкаемся на гору, день ясный, жаркий, цепляемся за тонкие буковые деревца, они растут густо, переплетаясь веточками, вязнем в истлевших листьях и утопаем в тени деревьев, продираемся все выше и выше, подавая друг другу руки, ладони соединяются и разъединяются, пальцы оплетаются и расплетаются, мы убегаем друг от друга, страстно желая быть пойманными, мы поднимаемся вверх, и что-то сильное и незнакомое поднимается в нас.

Наконец мы добираемся до верха, полумертвые от жары и усталости, и все-таки бежим по горному лугу, спугивая кузнечиков, стрекоз, поднимая тучи, целые тучи бабочек, потом, запыхавшись, ложимся навзничь прямо на траву, вслушиваемся в громкое дыхание друг друга. На наш пот слетаются мухи, жужжат над нами. Солнце сыплет искрами, неведомая сила прижимает нас к прогретой земле, друг к другу. Какие же мы оба неловкие, это замечательно, где-то недалеко кукует кукушка, долго кукует, и я знаю, что считать не надо, потому что празднику не будет конца.

Потом мы лежим рядом и вместе следим за облаками, они плывут, отбрасывая свою тень, прямо на нас, золотые мухи гаснут в ней, но жужжат, назойливо жужжат дальше. Дан куда-то уходит, а я приподнимаюсь и смотрю на капельки крови, нанизанные на стебельки травы и цветов, щелкаю по тонкой ножке, и алая роса падает с белого лепестка. Дан возвращается с двумя большими зелеными ветками, опять мы лежим рядом, размахиваем ими между небом и землей, отгоняя надоедливых мух, и молчим.

К счастью, Милушке я рассказала не все, то есть почти ничего, так, кое-чем поделилась из жалости. Эта гусыня уже тогда была чокнутая, от мужиков бегала, как от чумы, испытывая перед ними болезненный страх. Я уж ей и так, и сак, успокаиваю, мол, это ведь, Милуш, такая ерунда, даже, можно сказать, приятно, сначала голова кругом, а

потом вдруг все так тихо, спокойно. Я помочь ей хотела и помогла в конце-то концов, Ярек один бы с ней не сладил, а она ему теперь на меня бог весть что наговаривает.

Впрочем, винить ее не в чем, Миша на все их увещевания — ноль внимания. Один только раз — месяца через три после знакомства — он спросил, есть ли у меня кто-нибудь (Стшалковы постарались!).

Ты, ответила я спокойно, как будто не знаешь.

Это была чистая правда, потому что Дан на каникулы уехал, далеко, на Шумау*, так далеко, что перестал для меня существовать.

И больше никого?

Нет.

А раньше?

А у тебя раньше?

Михал не ответил. Почему тогда я должна была отвечать? Больше он ничего не спрашивал, только надел на лицо свою каменную маску.

Даже страшно стало, но мне он таким нравился.

Вера вздрогнула — зазвонил телефон. Словарик соскользнул на пол. Хороши занятия, сердилась она на себя, Власта сбила с панталыку, теперь Дан из головы не выходит, а осталась-то от него разве что тень.

— Не сердитесь, Верушка, что я опять беспокою, ваш уже дома?

— Нет, нету, ведь... а сколько сейчас? — Часы она оставила на кухне, когда мыла посуду. — Полчетвертого? Уже? Наверное, задержались на каком-нибудь собрании или еще где.

— Руда в столовую не ходит, может, они справляют что? Или день рождения у кого? Я так боюсь, как бы Руда в пивную не завернул, стоит только дорожку проложить — и, считай, конец.

— Милушке Стшалковой вы звонили?

— Неудобно, не хочу ее беспокоить, она ведь такая... как бы это сказать, ну, мне кажется, загордилась она, что ли.

— Это у беременных бывает, раньше она была нормальная. Вообще-то она добрая, нет, правда.

И почему это я выступаю в роли защитницы?

— А мне всегда кажется, что она смотрит на меня свысока, вам нет?

* Горы на границе ФРГ и ЧССР.

— Нет, зря вы так про нее.

На самом деле Рогленша права, Милушка на всех глядит с высоты своего целомудрия, одна я знаю его истинные причины, но никогда никому их не открою.

— Верушка, вы не можете ей звякнуть? Вы же подружки. Стшалка наверняка в курсе, уж он-то в пивную не ходит.

Это точно; статьи «пивная» в бюджете Стшалковых не имеется.

— Попробую. Но вы зря волнуетесь.

Вот разобрало бабу! Будь ее красавец моим мужем, я б только радовалась, что его дома нету. Но ведь Михал утром взял машину, значит, он давно должен был приехать. Может, завез домой Ярека и застрял у них? Милушка ведь такая ехидна, она его там задержит и продемонстрирует, каким должно быть образцовое хозяйство.

Вот идиотство, придется теперь из-за Рогленши выступать в роли ревнивицы.

Она подняла словарь.

Разве тут что-нибудь выучишь, никакой жизни из-за этого телефона.

— Да ну ее, совсем свихнулась,— зло сказала Милушка,— у них, наверное, собрание какое-нибудь. Вот пристала к мужику. Ну, выпил — так и что? На свои ведь пьет, она, чай, на работу не ходит.

Что-то, а шпынять в самую точку Милушка мастерица.

— Тогда успокой ее, Милуш.

— Чихать мне на нее с высокой колокольни, сама успокаивай. Она же не мне позвонила. И вообще, у меня времени нет, я сейчас как раз распашонки глажу, надо все приготовить для малыша, мало ли какая неожиданность.

— Милуш, ты вообще о чем-нибудь еще думаешь, кроме ребенка?

— Почему ты так спрашиваешь?

— Глупая ты стала, как клуша.

— Главное, что ты у нас умнеешь не по дням, а по часам.

— Ну правда, Милуш, что ей сказать-то?

— Придумай что-нибудь, сама не сообразишь, что ли? Подруга, называется. Умней на два года. И на всю праведную жизнь. Обладай Михал хоть малейшим чувством юмора, я бы сейчас так Ярека охмурила, что ее бы удар хватил. Жаль, Михал все может принять за чистую монету, тогда только держись!

Однажды она уже чуть не довела его, при одном воспо-

минании до сих пор мороз бежит по коже. Еще самая малость — и прощай, Михал.

Вера несколько раз прошла по комнате, но никак не могла заставить себя позвонить. Неторопливая речь Рогленши выводила ее из себя. Никакого настроения не было разводить с ней тары-бары.

— Стшалка тоже еще не вернулся, Милушка говорит, наверное, у них собрание.

— И где же они собираются? Уж не в пивной ли?

— Ну, конечно же, в той самой пивной, что напротив шахты, попробуйте туда позвонить.

Вера лукаво усмехнулась. Слышал бы сейчас Роглена, он бы ее быстро привел в чувство. Далась ей эта пивная, такое нарочно не придумаешь.

Шутка не развеяла ее собственного беспокойства, никакого собрания быть не может, а в пивную Михал никогда не заглядывал. Ему хватало, что вечерами Вера таскала его по кафе да по танцулькам. Кажется, утром он что-то говорил, даже наверняка, но что — она не могла вспомнить. Когда тебя так бесцеремонно будят, ни одной мысли в голове не остается, сколько раз она пыталась ему объяснить, что люди — ничего не поделаешь! — делятся на сов и жаворонков, она, к примеру, сова, и утром невменяема.

Штукатурка на полу означает, что он рассердился. Один раз после утренней ссоры Михал намеренно с работы домой не пришел, она давно забыла, из-за чего они повздорились, и когда он, наконец, вернулся, встретила его почти приветливо, мол, вы, наверное, отмечали что-нибудь, да? Ты поел или голодный?

Он довольно долго стоял, уставив в нее бессмысленный взгляд.

Сильна ты, девочка, проговорил он наконец, я смотрю, тебе хоть бы хны.

Это ты о чем?

Он прижал ее к себе. Остался без ужина, сам виноват. Но сегодня утром они не ссорились. Дверью он, правда, бухнул. Бука и есть бука.

По лестнице кто-то поднимался. Со словариком в руках она прыгнула в кресло.

Но это был не Михал.

Она швырнула словарь в угол. Пошла и подняла его.

Налила в банку еще немного рому. Он отдавал жостью. Это было отвратительно. Ее передернуло.

Невыносимый запах меркаптана служил сигналом к эвакуации всей шахты. Как только было произнесено слово «река», шум воды показался еще более зловещим. Никто не стал прикидывать, каким образом могла река проникнуть на такую глубину, она просто стояла у всех перед глазами — густая, как масло, ленивая, бесконечная.

— Вниз надо спускаться, здесь нас никто не найдет, — Стшалка по привычке искал подтверждения своим словам у старого Пёнтека. Но на этот раз и дед беспомощно мял свой послушный, весь в наростах, нос, на его веку такого в шахте еще не бывало.

— Может, ты и прав, Ярек. Если это река... — Пёнтек замолчал. — Не поможет нам ни святой Прокоп, ни святая Варвара, — закончил он про себя.

— В крайнем случае можем вернуться.

— А если внизу газ?

— Есть самоспасатели. Можно прямо сейчас надеть. Пицмаус, умеешь?

Кышмышка неуверенно кивнул.

— Дай-ка сюда! — Стшалка открыл коробку и сам нагнул ему маску. — Зажим на носу ни в коем случае не ослабляй. Мундштук закуси и рта больше не раскрывай.

— А я и не раскрываю.

— Да заткнись же, говорят тебе!

Зденек нервно рассмеялся. Вытаращив глаза, Кышмышка-Пицмаус махал руками во все стороны.

— Дыши спокойно, все нормально, — советовал ему Выметал.

— Я пойду первым, — сказал Стшалка. — Медведь замыкает.

— Последним пойду я, я здесь самый старший.

— Ладно, дед.

Улыбнувшись ему, Ярек надел маску. Один за другим шахтеры последовали его примеру. Зденек отступил в темноту. Тогда, побежав звонить, он не заметил, где оставил свой самоспасатель, найди его теперь под водой. Но он ничего не сказал, просто не мог. Не чувствовал даже страха, произошло нечто вроде раздвоения личности: откуда-то с большой высоты он наблюдал за собой, словно за червячком, извивающимся беззвучно, бессмысленно, безнадежно.

Михал вытащил мундштук.

— Зденда, ты что? Давай скорей!

— Сейчас вот я ему, как намордник собаке, — подоспел Пёнтек, и прежде чем Зденек что-либо возразил, крепко схватил его, зажав рот ладонью. — Хуже всего то, что собаке ничего не объяснишь. Ждать будет, что я ей принесу. Катринка из столовки всегда для нее целый сверток всего собирает. Будет ждать меня, все время будет ждать.

— Собаки время не чувствуют, собака не понимает, сколько она ждет.

— Тебе видней, ты ученый.

На это Зденек уже ничего не мог ответить — мешал мундштук. Он мог бы сорвать его, но дед крепко держал за руки.

— А для меня подол надежней, все одно — в легких сплошной уголь. Да и нос такой куда в противогаз! Давай!

Он сунул Зденеку свою лампу.

За ним подтолкнул Комара.

— Смотри, руку ему не отдави; я пойду последним.

Стшалка полез первым. Сначала все шло спокойно, но скобу надо было нащупывать под водой. Вытягивая шею, он пытался нащарить опору. Качнул лампой. За ним пошел Роглена.

Свет беспорядочно скользил по воде.

Потом стал спускаться Зденек. Комар отпрянул назад. Его замутило. Выросший на берегу, он любил ничем не смущаемую гладь пруда, но эта вода, невесть откуда пропавшаяся, повергала его в ужас.

— Ну, лезь же, — поторопил Пёнтек.

Поток сшибал людей, одержимых только одним — пригнуться где-нибудь в укромном, надежном месте. Вода лила и лила, разлетаясь во все стороны. Здесь, посреди ствола, ее шум казался просто оглушительным.

Стшалка спустился уже до половины, вниз валила сплошная черная река. Устав до полусмерти, он инстинктивно представлял себе, как все глубже и глубже заползает в щель, забирается в раковину, подальше от опасности, туда, где нет больше шума в ушах, где в тишине можно лечь и расслабиться. Сделав несколько шагов, он опомнился, вернулся назад (хотя это стоило ему невероятного усилия) и втащил в нишу Роглену.

Они объяснялись жестами, дальше вниз пути не было, но и вернуться назад они уже не могли, не было сил.

Пицмаус, забыв лампу наверху, застрял на третьей скобе. Выметал угодил на него ногой. «Прислали подаро-

чек, хороша помощь,— подумал он раздраженно,— ничего не умеет, слабак к тому же, хоть подставляй с каждого боку по няньке». Он почти снес его, не церемонясь, подтолкнул вглубь печи.

— Не пойду я дальше,— буркнул Пицмаус.

Выметал тут же затолкнул мундштук ему обратно и выразительно постучал себя по лбу. Кышмышка удивленно вытаращил глаза.

Видно, никогда не понять этому идиоту, что он идиот.

Выметал посветил на себя и, показав на маску, попытался дать понять, что трогать ее нельзя. Пицмаус, наконец, кивнул.... Выметал прислонил его к стене, словно неодушевленный предмет.

Еще в детстве Михал облазил все деревья вокруг, были на его счету отчаянные восхождения и спуски, но сейчас сильные ноги не слушались, он не сводил глаз с лампы Зденека. Она металась так дико, что становилось страшно.

Зденек об этом не знал, он боролся за свою жизнь. Все, что волновало его, забылось, кроме одного: не сорваться. Он судорожно цеплялся за скобу и каждый раз с трудом заставлял себя отрываться, нащупав ногой следующую опору. Угрызений совести он никогда не знал, жизнь была для него эстафетой, навязанной ему против его воли, именно потому он не мог сойти с дорожки.

У Комара кружилась голова, он закрыл глаза. Сразу показалось, что шум воды усилился, и он тут же открыл их, посмотрев вверх, на огонек папаши Пёнтека.

Старый шахтер, стоя наверху, перекрестился и закусил подол рубахи. Страх он не чувствовал, только усталость. И неуверенность: пожалуй, все-таки стоило переждать там, где можно было пока держаться. Шахта обречена, ее заполняет река: просочилась где-то в трещину и веками готовилась нанести удар.

От перенапряжения руки и ноги немели, словно отмирая. Вдруг перед глазами возник шкафчик для посуды, он ничуть не удивился этому, за стеклом — чашки с картинками из «Проданной невесты» и надписями: «Подумай, Маженка» и «Верная наша любовь». По большим праздникам из «Верной любви» пьет папа, а из «Маженки» — мама; иногда дети потихоньку наливают в них из-под крана воду, и она приобретает таинственный, сладковатый вкус. Из угла на него глядит, не сводя глаз, Божья Матерь Ченстоховская, у ног ее днем и ночью горит красная лампадка.

А вот и он сам: на отцовском стуле, куда никто не смел садиться, но после первой трудовой смены мать позволила ему занять это место; уставший до полусмерти, гордый и счастливый, распухшими пальцами он пытается расшнуровать ботинок, мама опускается на колени и, погладив его по руке, сама развязывает шнурок, улыбаясь ему сквозь слезы, и, снимая ботинок, освобождает его от тяжести.

...Вниз летит лампа и темная масса тела, Комар, рванувшись за ним, сам теряет равновесие, роняет лампу и только в последний момент хватается-таки за скобу. В панике он карабкается обратно, туда, где сухо, подальше от бурлящей воды, выше, еще выше, на берег.

Опрокинутая лампа Пицмауса служит ему ориентиром. Комар ставит ее и рассматривает свои руки — вот они, два запуганных, трясущихся, вышедших из подчинения зверька. Вода смыла с них угольную пыль, и теперь видно, какие они грубые, красные, с обломанными ногтями, ладони желтые, жесткие от мозолей.

Не прикасайся к ней, предупреждает Павлинка-старшая, можешь личико поцарапать. Даже по попке — и то не разрешает малышку похлопать, мол, кожа у ребеночка шелковая. Как-то раз он дотронулся до нее мизинцем, маленькая Павлинка поймала палец ротиком и стала сосать его, до чего же странное, сладкое чувство испытал он в этот момент.

Пожалуй, еще более приятное, чем когда Павлинка-старшая, заблудшая овечка, притулилась на его плече во время одной из его долгих дорог. Он заметил ее сразу за Студенкой, она жалась в уголке и тихонечко пошмыгивала носом, говорить он был не мастак, но у Пршерова все же решился спросить, кто у нее умер.

Никто у меня не умер, скорее, наоборот.

Как это — наоборот?

Наоборот, и все.

Он все выпытывал до самой Чешской Тршебовы, и только там она, наконец, доверилась ему. Но прежде он накормил ее, чем было, она с аппетитом поела и немного ожила. Выпила чаю из фляжки, положила голову ему на плечо.

Я ребенка жду, а деваться мне некуда.

У меня есть домик, вы преспокойно можете в нем жить, я там почти не бываю.

А люди что скажут?

Какое им дело? Если хотите, могу на вас жениться.

А вы хотите?

Почему бы и нет, давно пора.

Ну, ладно.

Павлинка прижалась к нему, он ждал, что она вот-вот заурчит по-кошачьи. Спала тихо-тихо, и все кругом под-ремывали. Обняв ее, задремал и он.

То-то соседи глаза вытаращили, когда Комар женился, да еще на такой куклешечке. А как начал живот подходить — от удивления только головами качали — ишь, Франтик-то, и не скажешь на него глядя, даром время не теряет. Тогда, с вокзала, он привез ее налегке, чемодана — и то не было, а теперь всего у нее завались, летом еще и веранду пристрою.

Вдруг его охватил страх — он впервые подумал, что может вовсе не вернуться, нерешительно встав, тут же поставил себе льющийся сверху поток, коленки подкосились, он снова сел и, сняв тесную маску, глубоко вдохнул. В голове прояснилось. Отвратительный запах рассеялся, в темноте светила только одна звезда, оставленная Пицмаусом.

Сколько раз он засыпал на плотине, когда выходили с ребятами порыбачить ночью, глядел, замерев, в черную воду, поглотившую затянутое тучами небо. Тут не намного хуже, по крайней мере, комары не кусают.

Комары. Писк комариный. И лягушки. Их кваканье. Тихий всплеск вынырнувшей рыбы. Круги по воде. Круги...

Он потер нос, там, где остался след от противогАЗа. И уснул.

Внизу, в тесноте узкой выработки, приютившей их, шахтеры были на исходе сил. Зденек впал в равнодушное опечение и, не шевелясь, глядел прямо перед собой. Ему казалось, что он очутился по другую сторону жизни. Осознав, как смешно его снаряжение для мира иного, хотел было освободить рот и нос, но кто-то силой удержал его за руку. Силой заставил сесть, прислонить голову к стене, несколько раз ударил ладонью по щекам. Он покорно позволял делать с собой все что угодно.

В свете лампы из темноты возникли глаза Михала, глядевшие на него из-под густых бровей. Два родника, излучавших бодрящую силу, два глубоких, чистых родника.

Зденек был даже рад, что не может и права не имеет переговорить с ним, с языка готовы были сорваться слова, за которые пришлось бы краснеть перед бригадой, скажи он их при всех. Никогда никем он так не восхищался, никого так не любил и не ценил.

Зденека потянуло к Михалу в первый же день, тот снисходительно воспринял это как нечто само собой разумеющееся, не выспрашивая, не навязывая советов, просто терпел его рядом с собой. В его спасительной тени Зденек чувствовал себя вне опасности.

Михал умел быть чертовски несговорчивым, ничего не стоило ему вытянуть человека из кровати, словно щенка, и чуть ли не за шкуру дотащить его до нарядной. Пару раз Зденеку удалось вырваться из-под его суровой опеки и нарезать до чертиков. Как-то одетый, прямо в ботинках, он плюхнулся на кровать, но Михал, не говоря ни слова, схватил его и швырнул на кафельный пол душевой, открыв до отказа холодный душ.

Они были знакомы уже почти полгода, когда Михал вытянул Зденека из пьяной драки в пивной, не заметив, что в последний момент тот прихватил с собой пол-литровку и теперь, защищаясь, размахивал ею во все стороны. Только кровь на лбу Михала привела его в чувство, но, едва поняв происшедшее, Зденек потерял сознание.

— Только попробуй кому что ляпнуть — это были первые слова, которые он услышал, придя в себя. Скажешь что-нибудь, я тебя больше знать не хочу, заруби себе на носу. В больнице они изобразили все в лучшем виде. Надо было видеть и слышать, как заливал Михал, опыт у него небольшой, зато настойчивость он проявил завидную, не смотря на всю нелепость своих утверждений.

При других обстоятельствах Зденек сыграл бы свою роль убедительнее, но чувство вины подавляло его, и он способен был лишь вяло подыгрывать.

Да, я споткнулся и упал, диктовал в протокол Михал, сидя с перевязанной головой.

На что вы упали? Уж не на пивной ли бокал?

А я не разглядывал. По-моему, там были какие-то осколки.

Интересно, прямо лбом угораздило.

Случайность. Тут как раз Коуба меня и поднял.

Любопытно. Пьяный — трезвого, такого у нас еще не было.

Все когда-нибудь бывает впервые.

А вы, я гляжу, еще и философ, иронически взглянул на него врач. Наконец, с трудом, но поверил.

И бригада приняла эту версию, вернее, вид сделала. Зденек понял это, заметив, что спуску ему теперь не давали. Каждый раз самая тяжелая работа доставалась именно ему, а Михал словно ничего не замечал.

Это была настоящая мужская дружба. И на тебе! — переманила его теперь какая-то маленькая потаскушка. На плотно сжатых губах промелькнуло что-то вроде усмешки. Промажнувшись, девочка, останешься теперь одна, а мы здесь, вместе, плечом к плечу будем стоять рядом до конца.

Он занес руку, чтобы немного освободить нос, но Михал, неотступно стоявший на страже, одним махом сбил ее вниз. На ладони начал писать буквы: т... е... р... п... и. Пришлось повторить два раза, зато ответ сразу был ясен:

На фига?

Водянистые глаза Зденека заискрились смешинкой, и он, наконец, ощутил себя тем, прежним Зденеком.

Выметал с Рогленой едва удерживали бригадира, рвавшегося то за Пёнтеком, то за Комаром. Он и сам знал, что ничем уже не помочь, но совесть мучила его, и он напряженно вглядывался в черную пустоту, бессмысленно надеясь, что пропавшие огоньки еще вынырнут из темноты.

Михал стиснул руку Зденека и, оставив его одного, отвел Ярেকа дальше по выработке. Теперь их было шестеро, и им не оставалось ничего другого, как ждать. Выбора больше не было. Ими овладевала безучастность.

Роглена и Выметал не сводили глаз с Пицмауса, Михал сидел между Зденеком и Стшалкой. Теперь его больше волновал Ярек — казалось, вынужденная бездеятельность отняла у него последние силы. А может быть, его просто терзали сомнения, верно ли они сделали.

Человек решает раз и навсегда, подумал Михал, и каждое решение должно быть правильным. Должно, иначе нельзя жить. Но если оно все-таки было неверным, не остается ничего другого, как смириться с его последствиями.

Какая опасная это ловушка — жизненное решение. Перед необходимостью принять его Михала поставили слишком рано, и двенадцати ему еще не было. Он уже тогда был дюжий, выше учителя, мать мог поднять на руках и покружить в воздухе. А вот разуму к тому времени набрался не шибко, видно, все в рост пошло.

Он пытался вслушаться в размеренную речь священника, но все мысли были устремлены на тарелку, полную спелых черешен. На черные мясистые сердечки из окна лилось солнце, превращая их в темные рубины.

Тебе, Михал, наверное, известно, что пан Плигал — твой отец.

Да, мальчишки говорили.

А мать — нет?

Нет.

Никогда даже не намекала?

Нет. Черешни были с оторванными черенками, и из маленьких дырочек выступил сок. У него текли слюнки.

Несмотря на некоторое легкомыслие, твоя мать — женщина разумная, она не хотела будить в тебе напрасных надежд. Бог лишил пана Плигала наследника, но в бесконечной доброте своей дал ему возможность утешиться. Он хочет признать тебя своим, я говорил с твоей матерью, и она предложила решить это тебе самому.

Черешни были из сада Плигала, там стоят три развесистых дерева, до чего ж сладки их плоды, но и коварны: горсти достаточно, чтобы выкрасить зубы и весь рот.

Ты слушаешь меня, Михал?

Слушаю, досточтимый отец. Значит, Плигал хочет жениться на моей матери?

Священник даже на стуле подпрыгнул. Взял одну черешню, съел ее. Михал проглотил слюну.

Имя тебе дали в честь архангела Михаила, мысли же у тебя суть дьявольские. Пан Плигал состоит в законном браке, жена его станет тебе новой матерью.

Плигалка? У которой снега зимой не допросишься? Которая подавится за грош?

Когда жеребая кобыла лягнула их Венцу прямо в грудь, Плигал в ярости схватился за ружье, а Плигалка крепко вцепилась в его руку. Венца два дня мучился, а как помер, батрак погнал Вранку на рынок, бока у нее блестя под солнцем, черна была, что дьявол.

Пани Плигалова, действительно поправил его преподобный отец.

Над черешнями кружилась оса, усевшись, она стала пить сладкий сок.

Ты получишь большое наследство, Михал, и можешь сделать много добрых дел.

Слова преподобного отца заинтересовали его, и он за мечтался, представляя себя в усадьбе Плигаловых. Вот он открывает калитку в сад, зовет туда всех мальчишек, и Фердика из приюта, и целую ораву девчонок — они будут стоять внизу и подбирать черешни, учителя Альжбетка повесит их на уши, потом они заберутся на сливу, потом на грушу, на яблони, и в чулан их пустят, и в погреб, девчонки будут лизать сметану, а ребята откусывать куски ветчины и жевать их прямо без хлеба.

А я смогу купить маме новый шкаф для посуды? — спросил он громко.

Священник усмехнулся. Отогнал осу. Она вылетела через открытое окно. Больше всего Михалу хотелось сейчас вылететь вместе с ней.

Ты добрый мальчик, Михал. О твоей маме позаботятся. Как это — позаботятся?

Предоставь это взрослым. Ну что, сказать твоему отцу, что ты согласен?

Михал молчал. Значит, что-то предоставить взрослым, а что-то надо решать самому.

Ты хочешь еще подумать, мой мальчик?

Ага. То есть да, преподобный отец.

Будь по-твоему, но помни, что сам господь бог протягивает тебе свою десницу. Учишься ты хорошо, для тебя откроется путь к знаниям, и ты сможешь стать большим человеком.

А я и так не маленький, подумал про себя Михал, вон, дома до потолка достаю, даже на цыпочки не надо вставать.

Даю тебе день на размышление. Ты должен решить раз и навсегда, так что не ошибись, сын мой.

Принимать решение он помчался на черешню Плигаловых, она так и манила его с того момента, как он увидел вожделенную тарелку, полную до краев. Забравшись наверх, он вознаграждал себя за долгую проповедь, битком набивая рот, и чем больше ел, тем сильнее была жажда, слаще становился сок.

Время от времени он поглядывал, что делается на дворе, после вчерашних похорон там осталась полоска песка, но черные занавески, расшитые серебром, были уже сняты, и желтую дорожку разгребали курицы. Розы были срезаны и подставляли солнцу колючие культи. Тетка в черной косынке вышла на крыльцо. Пани Плигалова, его новая мать. Раз чуть до смерти не ухоталась, когда он зарылся носом в землю с ворованным маком. Чуть что — так и брызгала в него ядовитой слюной. Ведьма кривоzubая.

Михал соскользнул со ствола и припустил в поле. Она увидела его, но промолчала. Теперь она кое-что про него знала.

Он бродил до самой темноты, под ее покровом прошмыгнул в дом учителя, тот еще сидел над книгой. По выражению его лица Михал понял, что и ему уже все известно.

Поздоровавшись, они оба долго молчали.

Учитель придвинул к нему тарелку с двумя пирожками, и Михал умял их в один присест. Взамен вытащил из-под

рубахи две горсти согретой телом черешни. Больше на тарелку не вмещалось.

Случайно, не краденая, Колига?

Михал пожал плечами.

Из сада Плигаловых. Преподобный отец сказал, я могу сделать много добрых дел.

В этом нет сомнений. Конечно, если только захочешь.

А почему ж не захочу?

Но тогда ты будешь уже не Колига, а Плигал.

И вся разница?

Как сказать. Деньги меняют человека.

Но мать согласна.

Просто она не хочет мешать твоему счастью.

Преподобный отец говорил, это мне сам бог послал. Значит, он и Венцу из-за меня убил?

А сам-то ты как думаешь?

Если бы бог хотел его убить, у него же для этого молния есть. Не стал бы он Венцу жеребой кобыле под задние копыта подставлять.

Преподобному отцу ты этот вопрос не задавал?

У него на все один ответ — пути господни неисповедимы.

Учитель рассмеялся.

Ты, парень, и с фамилией Колига не пропадешь. Но решить ты должен сам.

Почему?

Потому что никто из взрослых не решится посоветовать тебе отказаться от такого богатства.

И даже вы, пан учитель?

И даже я, Михал.

Вот так он остался на распутье жизни один-одинешенек.

Он потихоньку заглянул домой. Мать, погасив свет, спокойно спала, он ненавидел ее. И на горé, в усадьбе Плигаловых было уже темно. Только на небе зажглось много тусклых мерцающих огоньков.

Он запрокинул голову.

Собака прыгала ему на грудь и лизала руку. Одна она не бросила его. Михал со двора заглянул в окно. Полумрак в комнате постепенно рассеялся, вырисовалась мамина голова, плечи, сотрясавшиеся от рыданий.

Ни с того ни с сего в нем вспыхнула ярость, он влетел в дом и разразился криком, слишком долго пришлось терпеть, и он дал волю своей горячности, в минуту высказав все, что терзало его долгие годы.

Раньше он и знать нас не знал, даже не здоровался с тобой, двенадцать лет дела ему не было, что я живу на свете, от дома плеткой меня гнал, а теперь вы решили, что меня, как котенка, можно взять за шкурку и швырнуть на чужой двор? Да еще пана священника замешиваете; какое господу богу дело до их богатства, он вот подсунул Венцу кобыле под самый хвост, чтоб все наследство мне досталось, а мне-то наплевать на это наследство, раз ты хочешь от меня избавиться...

Она влепила ему пощечину, потом, плача, они успокаивали друг друга, мать обнимала его так крепко, что раздавила всю плигальовскую черешню. Испугалась, что это кровь, что господь наказал его за богохульство, а потом, смеясь сквозь слезы, выстирала рубашку — у него и было их всего-то две. Но пятна не отошли даже на солнце.

Ноги Михала в усадьбе больше не было. Не заходил он теперь даже к матери, которая работала там, на ферме кооператива. Предала его, вышла замуж, растит чужих детей. Он ни разу не упрекнул ее, но чувство обиды осталось. И домой из армии Михал уже не вернулся.

В горле был жгучий жар, он обхватил шею ладонью. Переглянувшись, все поняли, что чувствуют одно и то же. Шахтеры беспомощно сидели, бурлящей воде не было конца. Никакие сигналы извне сюда не доходили.

XIV

Во дворе одно за другим зажигались окна. Может, он и вправду рассердился, черт знает, что я там намолола спросонок. Сейчас быстро темнеет, ведь еще совсем не поздно. Из оконных щелей дул студеный ветер. Она распахнула окно. На улице подморозило. С вечернего неба сеялась ледяная крупка. Обе песочницы пустовали, их обходил от угла к углу бурый спаниель. Его выпускали одного, и он бродил по дворам, волоча длинные уши.

Дети, вытащив из мусорных баков елки, разложили костер. Отсыревшие оголенные веточки источали густой белый дымок. Из окна кто-то бросил в огонь пересохшее деревце, высоко взвились языки пламени.

Между этажами разгорелась перебранка. Женские голоса срывались на визг.

Вера отошла от окна. На горизонте розовел закат. Он менял цвет, но не гас.

Сколько раз они с отцом смотрели, как на самом верху отвала переворачиваются ковши с раскаленным шлаком, лава горела, падала вниз, корочка на лету темнела, разбиваясь, шлак на миг вспыхивал прежним багрянцем и тут же с шипеньем падал в воду.

В темноте это, знаешь, как красиво, говорил папа, но мать все считала пустой романтикой, и с отцом ее так и не пустила.

Тогда они отправились к отвалу с Милушкой. Был промозглый день в канун Нового года, стемнело раньше обычного — не успев рассеяться, утренний туман переходил в вечерний сумрак. На обеих были толстые шаровары, под ними рейтузы и, наконец, плотные колготы в резиночку. Милушка к четырнадцати годам уже привлекательно округлялась, но и ей не удалось отвертеться от детских сапожек. Матери обеих девочек были столь похожи в своем упрямстве, что закрадывалась мысль, а не разлученные ли они близнецы. Сверх толстенных лыжных костюмов на подружек напялили еще и пальто, на голову заставили повязать платки.

Вера сунула платок в карман, едва они выбрались со двора, Милушка же сносила свой старушечий вид безропотно.

Они подошли к отвалу как раз вовремя: огромный огненный цветок, рассыпаясь, падал вниз, в причудливой лавине виделся то огненный человек, то розовая птица, то пылающий конь с развевающейся гривой.

Далеко разносился металлический звук штанги, выбивающей из ковша остатки шлака, во тьме он напоминал жалобный, молящий крик какого-то загадочного существа. Настоятельный и напрасный.

Заунывный звук умолк, состав уехал, жар розовел и угасал, и тут из темноты вынырнула тень.

Атас, крикнула Вера и бросилась наутек.

Но Милушка, вечный тугодум, вежливо поздоровалась. Через мгновение у нее вырвался тут же приглушенный ладонью крик.

Вера остановилась, ноги и голос отказали ей, но быстро опомнившись, она с пронзительным визгом бросилась обратно. В темноте угадывалась какая-то возня, потом она различила бескровное лицо Милушки с плотно сжатыми губами, глаза, в которых стоял крик. Вера вцепилась незнакомцу в волосы, изо всех сил пытаясь оттащить его, упала на колени рядом с ними, прямо на куски остывшего шлака, но боли не почувствовала, схватила, что под руку

подвернулось, и стала крушить ненавистную ей голову, пока Милушке не удалось вырваться. Мужчина не двигался.

Сейчас же прекрати визжать, дура!

Только теперь Вера услышала свой голос как бы со стороны, она «выключила» сирену, и обе в ужасе помчались к ближайшему фонарю. Оказавшись на свету, Вера увидела на своих ладонях чужую кровь и прилипшие волосы, и обморочная тьма заволокла все перед глазами.

Она быстро очнулась, Милушка плескала на нее водой из лужи, хрустнувший под ее каблуком тонкий, как стеклышко, лед таял на Верином лице.

Отмой руки и перестань реветь, ничего со мной не случилось. Я ведь говорила, не надо ходить, так что молчи. И попробуй только проболтайся кому-нибудь!

Не проболтаюсь.

Поклянись.

Плюнув на пальцы, Вера подняла их для присяги.

Поклянись смертью матери.

Она поклялась смертью матери. Впрочем, в данный момент ей даже немножко хотелось, чтобы мать умерла — до того страшно ей было идти домой. Умерла бы она сегодня, а утром снова воскресла — это было бы то что надо.

Пораненная коленка давала о себе знать усиливающейся болью. Доковыляв до дома, Вера не удержалась — перед ее внутренним взором вдруг прошла вся история, и, взглянув на нее совсем другими глазами, она прыснула.

Милуш, а ты-то ему еще и «добрый вечер» сказала, ну и балда же ты!

А ты, Вера, испорченная девочка. Ты же сразу поняла, чего ему надо, мне-то даже в голову не пришло, хоть я и старше на два года. Все равно во всем ты виновата.

Несколько дней подряд они просматривали все газеты, но о неизвестном насильнике не было даже упоминания. Скорее всего, очнувшись, он скрылся.

Но Милушке он долго чудился в каждом мужчине, собственный отец — и тот стал противен, она избегала его. Так что блюсти нравственность не составляло ей никакого труда. А теперь судит всех почем зря.

В комнате совсем стемнело.

В дверь позвонили.

Она зажгла свет.

Распахнула ее навстречу Михалу, улыбка слетела с лица, сменившись выражением испуга.

— Товарищ Колигова, мы из шахткома, моя фамилия Шуба.

— Полачек, — почти перебив его, представился второй.

— Но Михала еще нет дома.

Визитеры пришли в замешательство.

— Понятно. Мы как раз пришли сообщить вам, что он задержится.

— Чтобы вы зря не волновались.

— Может быть даже, он задержится надолго, тут уж такой случай.

— Но он обязательно вернется.

Они перебивали друг друга, и было в этом усердии что-то неестественное.

— А чем он, собственно, так занят? Почему задерживается? И потом, он сам мог бы мне позвонить.

Они переглянулись.

— Не волнуйтесь, товарищ Колигова, ничего страшного не случилось.

— Просто небольшое происшествие.

Под натиском неожиданных гостей она отступала в глубь прихожей. На их лицах все отчетливее читались растерянность и сочувствие.

Она поджала щеки кулаками, чтобы не закричать. Страх постепенно парализовал ее, и руки беспомощно упали вниз.

— Что с ним?

— Ничего, честное слово, просто он остался внизу, в забое...

— ...там почти все остались...

— ...они поднимутся, как только это будет возможно...

У Шубы на лбу выступили капельки пота. Полачек пытался напустить на себя беззаботный вид, но улыбка вышла кривой.

— Вы на машине?

Они недоуменно кивнули.

— Я поеду с вами на шахту.

— Нельзя, товарищ Колигова, и смысла никакого нет.

— Что вам там делать? Можете позвонить туда, когда хотите, я дам вам прямой телефон.

— Да и не пустят вас туда. Не волнуйтесь, до утра ваш муж обязательно вернется.

Она не стала их задерживать. Спорить не было сил. Она доберется туда сама. Не сидеть же всю ночь у телефона. Звонок.

Сердце громко застучало.

— Верушка, не хочешь кнедлики разогреть к ужину, Индра тебе может занести.

— Что, мама?

— Я говорю, кнедликов послать тебе? Михал их любит. Или у тебя уже есть ужин? Тогда завтра разогреешь. Только Инду сейчас же отправь обратно, чтоб не шлялся мне по ночам.

— Что-что? А, ну да, только не сегодня, мама, я сейчас ухожу.

— Одна?

— Михал ждет меня в центре.

— Опять на танцы?

— Да нет?

— Что с тобой? Вы поругались? Экзамен завалила?

— Все в порядке, просто мне надо бежать. Пока.

Она положила трубку рядом с телефоном, чтобы мать не могла перезвонить. Вера боялась высказать страшную догадку вслух, — того и гляди, накличешь беду.

Кнедлики, с ума мать сошла. Вечно лезет со всякой ерундой в самое неподходящее время. Теперь обидится. Ладно, завтра с Мишей мы к ним заедем.

Она прикусила палец, чтобы не вскрикнуть.

А что, если не будет никакого «завтра»?

Квартира казалась ей теперь ужасающе огромной, метаясь из угла в угол, она пыталась отогнать страх, но он и не преследовал ее, исходя откуда-то изнутри.

Надо собраться. Надо одеться. Там холодно. Надо надеть шарф. На голову что-нибудь. Шапку. Потянулась за пушистым белым мехом и отшатнулась.

Вылитая Белоснежка, восхитился Михал, когда она примерила ее, а гномы не нужны?

Меняю семерых на одного медвежонка.

Он чмокнул ее в нос. При продавщице.

Да не может же все это вдруг кончиться! Не может!

Она подошла к телефону и положила трубку на рычаг. Вдруг Михал уже набирает номер? С ним ничего не может случиться. Я же везучая. Тыфу-тыфу-тыфу, и по дереву еще постучу. Он с Яреком. Стшалка умница, и шахтерское дело знает, про него в газетах писали. И старый Пёнтек с ним, тот, говорят, по шороху все определит, с одного взгляда поймет, какой камень ослаб. Выметал смелый, он в партизанах был, а Роглена здоровый, как бык, одними руками сбвал удержит; не может ничего с ними случиться, не может.

Я должна туда поехать. Я должна быть уверена.

Вот два идиота. Мямлили что-то, мямлили себе под нос. Неужели не ясно, что я должна знать правду.

Не хочу ее знать.

Если он погиб, они бы сказали.

Он жив.

Она натягивала сапоги.

Он даже не видел мои новые серебристо-серые туфельки.

Она прислонилась к стене.

Звонок.

Она закрыла глаза.

— Вер, к тебе уже приезжали?

— Спокойно, Милуш, все нормально, тебе нельзя волноваться.

— А я и не волнуюсь. Но в любом случае я должна быть с ним рядом.

Как удивительно она это сказала.

— Я уже одетая, сейчас за тобой заеду. Такси только поймаю.

— Хорошо.

Боже, да чтоб Милушка согласилась ехать на такси, это ж конец света!

Вера пошатнулась. Хуже всего было то, что у боли не было источника, где ее можно было отыскать и заглушить. Она наступала, постепенно сжимая огромные невидимые челюсти.

— Лучше, если мы будем рядом с ними, — повторила Милушка, как будто забыла все остальные слова.

— Надо Рогленшу захватить.

— Я ей звонила — я про нее тоже подумала.

Машина забуксовала в колеях, засыпанных ледяной крупой. Обхватив руками живот, Милушка словно оберегала еще не родившуюся жизнь.

— Так что, заезжаем за ней?

— Не надо, она говорит, Руда рассердится, если узнает, что она его искала. Лучше дома будет ждать.

— Одной дома свихнуться можно.

Милушка, не ответив, со спокойным, безучастным выражением лица наблюдала за работой «дворников». Ритмичным движением они словно отсчитывали время.

— Лучше, если мы будем с ними рядом, — рассеянно повторяла она крепко засевшую в сознании мысль, — я думаю, Вера, лучше, если мы будем рядом с ними.

Но вахтер так не думал. Он получил строгий приказ никого не пускать. Они вступили с ним в пререкания. Заставили его позвонить.

Такси уже и след простыл, свистел ледяной ветер.

— Этого нам еще не хватало,— кричал в трубку директор,— это именно то, что нужно для полного счастья. Пусть подождут на проходной, сейчас я за ними пришлю.

Он брякнул трубкой.

— Хельга, сбегайте в шахтком, пусть принимают подабочек, мастера художественного слова! И пускай что хотят, то с ними и делают, раз объяснить толком не сумели.

Как будто без женских слез воды мало, черт возьми! Он подсел за стол к остальным.

— Жены, понимаешь ли, явились, пока только две.

— Комар — из Тршебони, Пицмаус — живет у Пардубице,— сказал Йожка,— Пентек вообще вдовый.

— Только пять, значит, слава богу. Нет уж, пусть сами теперь с ними разбираются, головы садовые!

— Шахтерские жены — это тебе не фунт изюму,— вздохнул Кухта,— не то, что дурочки какие-нибудь. Ну-ка, сынок, давай еще раз во всех подробностях.

Йожин уже освоился в присутствии больших начальников, смущение постепенно прошло. Теперь он временами и вовсе забывал, что перед ним сплошные тузы, никто из них не пыжился, все были одинаково издерганные и озабоченные.

— Положили мы рельсы для прогона, поставили две рамы, затянули бока и кровлю — там, где осыпалось, завалили породой. Потом Медведь, то есть Колига, что-то приниматься начал...

— А вы ничего не слышали?

— Слышали, отбойный молоток. И еще перфоратор. Выметал по левой стороне бурил, вот так наискосок, а, да, еще вентилятор шумел.

— А гула, гула никакого не слышали? Или толчков?

— Уголь какой был? Блестящий или матовый?

— А давило как? Что с давлением?

Услышав столько вопросов, Йожин только плечами пожал.

— Все было нормально, как обычно. Да, давление... Уголь шел хорошо, говорил Медведь, а тут его как раз бригадир позвал. Только мы хотели ставить крепь, и увидели воду, первым Зденек увидел Падись, Коуба то есть, он еще говорит, ну...

— Так что он сказал?

— Неприлично выразился, известное дело — столичный.

Кухта не сдержал улыбки — он и сам был из коренных пражан, и работать начинал в Кладно*.

— А где была вода? Поточнее объясни.

— Если точнее, то вот здесь,— показывал руками Йожин,— где пласт сходится с кровлей, там струйка и текла.

— А потом через уголь прорвало?

— Тогда меня уже не было.

Директор шахты Гавлик резко поднялся с места. Все могли спастись! Спустились бы спокойно на четвертый, как этот малый, не пришлось бы сейчас ломать голову. А с водой как-нибудь справились бы. Да куда там — вот и вдалбливай им после этого в башку, что главное в шахте — это люди, подумать только — ждут себе и в ус не дуют, пока затопит всех.

До проходной, наконец, добежал Тонда Фикейс, член шахткома. Он славился своим красноречием, ни одно собрание не обходилось без его выступления, хлебом не корми — дай только высказаться.

Но когда он оказался лицом к лицу с двумя молодыми женщинами, одна из которых была к тому же на сносях, его набитый привычными фразами рот закрылся сам собой. Он смог лишь представиться и робко спросить:

— Может, лучше вас домой отвезти? Это я могу устроить.

— Мы только что приехали,— ответила Вера,— поймите нас, пожалуйста.

Сразу за шлагбаумом она увидела красную «Шкоду» и усилием воли подавила крик. Машина казалась брошенным, покинутым всеми существом. На окне обросла морозными иголочками дурацкая надпись. Вера остановилась и стерла ее ладонью.

Руку пронзила леденящая боль.

— Пошли,— одернула ее Милушка,— не задерживайся.

Дальше они отправились, взявшись за руки. Во дворе стояли большие машины горноспасателей — из Радванице, Остравы, Катовиц.

— Это еще ничего не значит,— успокаивал их Фикейс,— обычное состояние аварийной готовности, на всякий случай. Мало ли что.

— Вы что, душой меня считаете? — перебила его Милушка.— Чем мы вам не показали, что нам уж и правды сказать нельзя? Что там — пожар? Самовозгорание?

* Центр угольной и металлургической промышленности недалеко от Праги.

— Нет, вода.

Обе почувствовали облегчение. Им казалось, что вода — это не так страшно. Кого-то укладывали в «Скорую помощь». Забыв о своих подопечных, Фикейс бросился к машине.

Вернулся разочарованный. Увозили Лишчара.

— Это инспектор, нет, не раненый, приступ желчного пузыря, — сообщил он почти с досадой.

«Скорая помощь» с воем выкатила из ворот.

Долго крепился Лишчар, хотя волнение быстро нейтрализовало действие укола. Боль опять охватила его, но в машину он забрался без посторонней помощи, улегся на носилки и вдруг ощутил вокруг приятный туман, растворившийся в нем без остатка.

Машинист подъема Герман давно уже помыслил и переоделся. Но уйти с шахты он не смог. Он не был ни горноспасателем, ни должностным лицом, но чувствовал свою причастность к судьбе пропавших, потому что был к ним ближе всех. Его голос был для них последним сигналом из мира людей. Его и Леготы. Знай он это тогда, он нашел бы для них другие слова.

Что могло случиться, почему они положили трубку? Прервали связь добровольно или задохнувшись от газа?

Он терзался, не предполагая, что проживет в мучительном неведении всю оставшуюся жизнь. В будущем он узнает, что случилось с шахтерами, но никто и никогда не ответит ему на вопрос, что было бы, если бы он остановил Йожина и дал сигнал тревоги.

Никто не ответит, никто не спросит, никто не обвинит в нарушении служебных обязанностей, и нерешенная загадка так и останется между ним и его беспощадным богом.

Хорошо, что он еще не ушел, вспомнили и о нем.

— Никак клеть не идет. Может, вы спуститесь, попробуете?

— Конечно.

— Но это опасно.

Герман только презрительно усмехнулся. Опасность его не касалась. Вслух он ничего не сказал, да его бы и не поняли. Это они должны были преодолевать страх, а он всего лишь подчинялся воле божьей.

Врач торопливо осмотрел его.

— Сорок, ну да, с хвостиком. А выглядите старше, не мальчик, в общем, но болезней никаких не нахожу.

Директор напряженно следил за врачом. Время летело с бешеной скоростью. Клеть была нужна во что бы то ни стало.

— Практически здоров, — нехотя вынес заключение врач. — Противопоказаний нет.

Машинисту быстро объяснили, как пользоваться респиратором. Он был спокоен и понятлив. Но, спустившись в свое подземное отделение, где работали спасатели, почувствовал ужас. В темноте, в неведомом, все казалось иным, чуждым. Перед ним предстала картина последнего суда — огромная волна погребла все живое, машины, инструменты. Он звонил по всем телефонам аварийного участка, но аппарат был глух. Мертв.

Герман превозмог страх. Где-то в дебрях темноты теплилась жизнь, ждала его, его разума, рук, опыта. Забыв опасения и молитвы, он принялся за дело.

Инженер Адамчик руководил спасательными работами из диспетчерской. Почувствовав знакомое, легкое прикосновение, он оглянулся. Приход Ирены не удивил его, ночная размолвка осталась где-то в далеком прошлом, казалась чем-то совершенно незначительным, может, ее и вовсе не было. Он разрешил ей измерить давление и проглотил таблетку.

— Есть хочешь?

Он жестом отказался. Перед ним, нетронутый, лежал ломоть хлеба, а на нем — окорок, Хельга всех обеспечила.

Жена отошла в сторону, Адамчик даже не обернулся — он привык не замечать ее. Равнодушен был и к той, другой; все вчерашние заботы казались теперь совершенно ничтожными, оставшись в бесконечном прошлом.

Сейчас для него существовало только одно — возвращение восьми шахтеров живыми. Другого счастья на свете быть не могло.

XV

Хрустальная люстра сверкала над столом, покрытым узорчатой льняной скатертью. Посредине стояла ваза с несколькими веточками северо-американской сосны. Хвоя источала изысканный аромат, отдававший смолой и апельсином.

Стол был накрыт на двоих по всем правилам — приборы серебряные, бокалы хрустальные, тарелки с голубым орнаментом.

Пожилая хозяйка с аккуратно уложенными седыми волосами, чуть подкрашенными благородной синевой, сделала лишь одну уступку своему возрасту и недугу, вынуждавшему ее ходить, опираясь на толстую палку с массивным набалдашником: она позволила себе покрыть белую скатерть целлофаном. Плоское блюдо с тонкими пластинками вареной говядины, украшенное аккуратными ломтиками картошки и моркови, она поставила на сервировочный столик и теперь с трудом толкала его перед собой.

Муж выглядел лучше, держался прямо, сохранив с молодости стройную фигуру и густые каштановые волосы; прошитые годы выдавала только скептическая усмешка.

Инженер Зайдлер вынужден был подчиниться и разрешить больной жене обслуживать себя, дабы избежать ее раздражения, вечных угрызений совести и самобичевания. Она категорически отвергала его помощь, стараясь вести хозяйство самостоятельно, несмотря на ослабевшие руки.

— Мясо жестковато, тебе не кажется? Варила, варила, да разве найдешь теперь приличную говядину.

Понимая, что любой ответ разозлит ее, он не стал ни хвалить, ни ругать.

— Есть можно,— ответил он уклончиво,— с морковью даже вкусно.

— Морковь горьковата, это все из-за искусственных удобрений. Что-то я не припомню, чтобы в годы первой республики* зимой морковь была когда-нибудь горькой, а картофель — сладким.

— Да нет, прилично.

— А ты вообще представляешь себе, сколько возни с той же картошкой? Почистить, помыть, чуть уксуса добавить, петрушки, варить, не отходя от плиты, легко сказать — «прилично»! Вот если бы я варила, как она — бабах в кастрюлю прямо в кожу!

«Она» — это была сноха, обвиняемый номер один в семье.

Старый хозяин не спорил. Он давно смирился с одними и теми же жалобами, жизненный горизонт его несчастной жены сузился до предела. Он пытался расширить его с помощью книг, радиоприемника, телевизора... Но злобы от этого не убавлялось, чтение ее раздражало, по поводу передач она не переставала отпускать желчные комментарии.

Он свыкся с этим так же, как с шумом новой дороги, вырвавшей их маленькую виллу из тишины садов.

* Первая республика — буржуазная Чехословацкая Республика (ЧСР) — существовала с 1918 по 1939-й год.

Зазвонил телефон.

— Кто позволяет себе звонить во время ужина? Просто ужасно.

— Но кто может знать, что именно сейчас мы ужинаем?

— Конечно, теперь нигде порядка нет, время еды — и то не соблюдается, все ужинают, когда им в голову взбредет, хоть бы и утром...

Она ворчала в пустоту, потому что муж, прижав трубку к одному уху, закрыл второе ладонью. Она обиженно насупилась, ах, я ему еще и мешаю, вот она, благодарность, поужинал себе, да еще и уши затыкает. С кем это он беседует?

— Да... да... разумеется, я вас понимаю... что вы, что вы, ничего страшного. Хорошо. Хорошо. Да. Я буду поглядывать в окно. До встречи.

— С чего это ты будешь поглядывать в окно, осмелюсь спросить.

— За мной пришлют машину.

— Какую еще машину?

— «Татру».

— А не хочешь ли ты объяснить мне, что, в конце концов, происходит? И будь добр, доешь, пожалуйста, ты прекрасно знаешь, скольких сил мне стоит сварить и приготовить, другая на моем месте давно бы легла и требовала, чтобы все плясали вокруг нее на задних лапках, а я себя для семьи никогда не жалела, доешь мясо, оно же во рту тает, я уж выбрала кусочек получше. Так куда же ты все-таки едешь?

Приложив к губам салфетку, он поднялся.

— На шахту, там авария.

— И что же, все хотят свалить на тебя? Да ты там уже сколько лет не работаешь.

Она проковыляла за ним в ванную.

— Никто ничего на меня не сваливает, Иржинка. Успокойся, просто я помогу им кое-что уточнить.

— Сами пусть уточняют. Ты преспокойно можешь остаться дома, в конце концов у тебя больная жена, никто не имеет права тебя заставлять.

— Меня и так никто не заставляет. Но несколько шахтеров остались под землей.

— Шахтеры! Тебе-то что до них? Или это не они плюнули тебе в лицо после войны? Можно подумать, они заступились, когда тебя вышвыривали с шахты.

— Я ушел на пенсию.

— Давай, давай, золоти пилюлю, ты и сам скоро в это поверишь. Хорошо же она тебя обработала.

Он не стал спорить и на этот раз. Заступаться за сноху не имело смысла. Да он и сам ее недолго любил.

Дотащившись за ним до спальни, Зайдлерова беспомощно следила за тем, как муж одевается. Он сам выбрал рубашку и галстук, даже не посоветовавшись с ней.

— Позвони им, скажи, что ты никуда не поедешь. Годами они в тебе не нуждались, обойдутся и сейчас. Или, может быть, тебе льстит, что о тебе вспомнили?

Он поймал себя на том, что не слушает жену. Уходя, поцеловал ее в щеку. Она плакала. Зайдлер сделал вид, что ничего не замечает.

Он неторопливо шел к калитке, дорожка была скользкая — зима, наконец, разразилась морозцем.

Сухошавая фигурка в элегантном, чуть устаревшего фасона пальто и шляпе среди голых деревьев была полна такого достоинства, что водитель вышел из машины и распахнул дверцу.

Они обменялись короткими приветствиями, но по дороге ни тот, ни другой не решались нарушить молчание.

— Это вас из-за воды? — осмелел, наконец, водитель. — И откуда только она там взялась. Говорят, льет и льет.

— Сколько человек осталось внизу?

— Восемь. Водолазы и то не могут к ним прорваться, один чуть было не угробился.

Вахтер поднял шлагбаум. Они проехали мимо красной «Шкоды».

— Машина одного из пропавших, — объяснил шофер, — стоит себе, милая, а хозяин черт-те где под водой полощется, надо же такое, а?

Легко выскочив из директорской «Татры», Зайдлер вошел в знакомое здание. Все здесь было знакомым.

Его жена еще долго всматривалась в темноту. Неугасимая злоба крушила ее здоровье больше, чем артроз, а, может быть, нескончаемая ненависть ко всем и ко всему была лишь следствием болезни.

Она ненавидела мужа — только пальцем помани, свистни, как собачке, — и он уже бежит без оглядки.

Она ненавидела шахтеров; Зайдлер никогда не делал им ничего дурного, а они выступили против него, упрекая в том, в чем он вовсе не был виноват: получая приказ сверху, он, такой же служащий, вынужден был увольнять людей с работы.

Она ненавидела шахтерских жен; в былые времена они передрались бы за право постирать и прибрать у нее в доме, благодарны были за кастрюльку с объедками, а теперь недобро косились на нее, когда она подходила без очереди, и, растерявшись, никак не могли сообразить, что выбрать у прилавка — грудинку ли, отбивные, или ветчину — эти весь магазин готовы были скупить.

Но больше всех из них она ненавидела одну, о которой даже слышать не желала. Ту, которой она приписывала ответственность за все происшедшие перемены. Ту, что явилась к ним в один прекрасный день через пять лет после войны, коротко стриженная, с облупившимся носом, в синей рубашке с карманами на груди — такой большой, что эмблема Союза молодежи лежала на ней почти горизонтально.

Я получила ордер на квартиру, то есть на одну комнату.

Порывшись в большой сумке, она вытащила бумагу.

Какую из наших комнат вам отвели?

Здесь не сказано. Просто комнату, и все: мне совершенно все равно какую, вещей у меня немного. Беспокоить вас я не собираюсь, дома буду бывать редко.

Пожалуйста, выбирайте, раз уж у вас ордер.

За что вы на меня сердитесь? Поймите, мне жить негде, а у вас тут на троих целая вилла.

Это наша вилла. Мы ее не украли.

А я ее у вас и не конфискую. Зачем она мне? От старья меня тошнит.

Она осуждающе оглядела фарфор за стеклом горки, висящую на стене картину — корабль, парус которого был сделан из фосфоресцирующего крыла экзотической бабочки, на лице появилось явное отвращение.

Это что же, из бабочки? — спросила она. — Фу, гадость какая!

Более чувствительного удара хозяйке она нанести не могла — это была семейная реликвия. Зайдлерова умышленно повела ее в мансарду, где раньше жила служанка. После прежней обитательницы осталась железная кровать, обтянутый клеенкой стол, облупившийся шкафчик.

Это вас устроит, барышня?

Даша меня зовут. Конечно, устроит, даже очень.

Глаза у нее были необычные, веселые, с бурыми крапинками, рассеянными по голубизне. И сама она была какая-то странная. Из ордера они узнали, что Даша работает инженером. Уходила она в пять утра, возвращалась вечером, а по выходным дням, надев темно-красный мужской

комбинезон, отправлялась на воскресник. Временами приводила к себе гостей, и тогда над их головами раздавался ее звонкий смех. Иногда чертила, распевая при этом революционные песни. Потрясающе фальшиво, говорил их сын.

Самое ужасное заключалось в том, что ее не в чем было упрекнуть. Она вежливо здоровалась, не высказывала никаких претензий, деньги за жилье платила своевременно, без разговоров мыла лестницу до самого низа.

Однажды хозяйка застала у нее своего сына. Они горячо спорили с набитыми ртами, держа в одной руке по куску хлеба, в другой по сосиске, то и дело макая их в горчицу, лежавшую на бумажке. Это потрясло ее больше, чем если бы она нашла его с квартиранткой в постели.

Она поняла, что теряет сына, раньше, чем он осознал это сам. А ведь в него было столько вложено сил!

Почему вы на него кричите? Почему вы не пытаетесь переубедить меня? Или моего мужа?

Это бессмысленно, вы — бывшие люди.

Кто мы?

Бывшие, отжившие значит. Вы доживаете свой век вместе со старой Островой. А мы строим новую.

Вы имеете в виду эти крольчатники?

Строим, как умеем, жилья нам нужно побольше и побыстрее.

Но при чем здесь мой сын?

Правош перспективный.

Если б хоть она сказала, что любит его. Но таких слов в ее лексиконе не было. В итоге сына она-таки переубедила, и они вместе переехали в новый блочный дом. Когда Даша впервые появилась у них с ордером в руках, старая хозяйка боялась, что она выживет их из дома. Теперь же она ненавидела ее вдвойне, ибо та пренебрегла роскошью.

Разве можно жить в этом музее, объяснила Даша коротко, детям нужен свет.

В новом доме света было достаточно, ничего не скажешь, и яркого разноцветья хватало, а веселый шум и смех просто не смолкали. Зайдлерова болезненно переносила каждое свидание, для нее было оскорбительным, что молодые обходятся без ее помощи, с трудом вынося даже ее присутствие. Даша со всем справлялась одна — с работой, с детьми, с квартирой, везде была чистота, дети одеты аккуратно, щекастые, румяные, круглые отличники.

Сноха изменилась, она уже не ходила в форменной синей блузе и не ела с бумажки, только грудь и самоуверенность были все те же; посадив «бывших людей» на тахту

и задвинув их столом, ставила перед ними угощение и, казалось, готова была сказать: сидите тихо, не мешайте. А их сына она переделала по своему образу и подобию.

Каждый вторник хозяйка встречалась с приятельницами, они говорили между собой о болезнях, делились семейными заботами, и на каждом «собрании» устанавливали точный срок, когда придет конец новым порядкам.

Но и этой маленькой радостной надежды лишила ее сноха: как ни хотелось вернуть прошлое, хозяйка уже и побаивалась этого: сын служил в хорошем месте, младший внук — вылитый дед — был вожатым «звездочки».

А теперь и муж туда же: стоило машину за ним послать — и он уже едет, более того, едет с удовольствием! Хорошо зная его, она заметила, как загорелись его глаза от нетерпения выложить им все, что еще сохранилось в памяти. Даром.

С трудом составив грязную посуду на сервировочный столик, она заковыляла на кухню. Напустив в раковину воды, отложила палку и принялась за мытье тарелок. Ее душили злые слова, которые некому было высказать, ей жалко было себя, вынужденную на старости лет собственноручно мыть посуду, и все-таки она сама вновь и вновь выискивала очередное хлопотливое занятие, чтобы окончательно не погрязнуть в тишине огромного дома.

Муж ее, инженер Зайдлер, был подобен тем созданиям, которые в засуху превращаются в мелкие мертвые камешки, но с первой же каплей дождя воскресают и оживленно кишат в лужах.

Рабочая обстановка позволила быстрее освоиться среди незнакомых лиц. Все это были новые люди. Сейчас их самоотдача вызывала в нем симпатию: Вырвавшись из затхлой домашней обстановки, он не мог скрыть своей радости и стыдился, понимая всю ее неуместность.

Члены аварийной комиссии растерялись: не хотелось выставлять себя в неприглядном свете, но и спугнуть гостей они тоже боялись.

Никто не знал даже, как к нему обращаться.

— Так что вы хотели от меня, господи?

— Видите ли, есть некоторые сомнения...

— Даже не сомнения, — решил директор шахты Гавлик, — садитесь, пожалуйста, господин инженер, взгляните на карту, вот здесь мы пробили слепой ствол, там на всех картах значится старая выработка, а прорвалось вот тут...

— Этого не может быть.

— И мы того же мнения. Но вода льет с десяти часов. Старый инженер погрузился в карты.

— Не могли бы вы вспомнить, почему никогда не шли сюда, почему оставили этот целик. Может быть, вам было известно что-нибудь такое, что не внесено в карты.

— Ерунда, все там должно быть отмечено,— возразил Кухта,— ведь геологоразведку делали заново.

— Я знаю, но почему же потом было дано указание предварительно бурить разведочные скважины, если по картам фактически никакой опасности не было?

— Потому что Адамчик слишком осторожный,— ляпнул Кухта в раздражении. И тут же похолодел.

Выходило, что не слишком предусмотрительным оказался он сам, однако никому и в голову не пришло ловить его на слове, все сделали вид, что не слышали реплики.

— Вероятно, была причина, по которой вы не трогали этот уголь,— как ни в чем не бывало продолжил Гавлик,— вот это мы и просим вас вспомнить, господин инженер.

— Ничего особенного я не припоминаю. Причина? Причина наверняка была, скорее всего финансовая.— Он провел пальцем вдоль линии, обозначающей пласт.— Мощностъ—шестьдесят с горем пополам, такой пласт разрабатывать невыгодно.

— Но здесь лучший антрацит, он нужен позарез.

— В наши времена были другие мерки, главным была прибыль. Мы не могли добывать себе в убыток.— Он улыбнулся.— Да вы, господа, наверно, сами это по истории проходили: все вопросы решались, в первую очередь, с точки зрения прибыли.

— Вы убеждены, что других причин не было?

— На сто процентов не ручаюсь. Просто не помню.

— Поймите, нам необходимо выяснить причину аварии. Источник. Старая выработка вроде бы ничем не грозит. И плывуна, если верить геологоразведке, здесь нет.

— За это осмелюсь поручиться с полной уверенностью, шахту я знал достаточно хорошо. Насколько помнится, однажды во время половодья вода прорвалась через главный ствол, но это мы предусмотрели. Постойте-ка, а к Егеру вы не обращались? Нет? К инженеру Егеру?

— А-а, «Егер и К^о—производство кальсон»,— приснул кто-то из членов комиссии, тут же прикусив язык в стеснении перед стариком.— Да это он сам так всегда говорил: я, мол, не родственная тот фабрикант, у которой завод кальсоны. Замечательный человек, антифашист, на пенсию ушел лет пять назад.

— При мне его уже не было.— Это Кухта помнил точно.

— Никто не знает историю шахты лучше Егера, это его хобби. Он старые карты перерисовывал в свое удовольствие.

— А разве это разрешается?

— Только не спрашивайте его об этом,— заерзал Гавлик,— а то, не дай бог, решит, что мы собираемся его допрашивать. Надеюсь, вы так не считаете, господин инженер?

— Нет, я вас прекрасно понимаю. Вы директор шахты?

— Да, а это Кухта — мой предшественник, так что мы тут все смешались в кучу. Хельга, узнайте адрес Егера, а если есть, то и телефон.

— Он жил в Петршовице,— снова отозвался тот же ветеран, у него свой дом там был. Помню, цветы все рядами высажены, деревья подстрижены одно к одному.

— Может, ты и съездил бы туда с водителем, уговорил бы его приехать?

— Почему бы и нет?

Хельга поставила перед старым инженером кофе, тарелку с ветчиной и хлебом. Он задумчиво смотрел на радужные пузырьки в чашке, на тонкие аппетитные ломтики мяса.

— С сахаром?

Положив в чашку два кусочка, Зайдлер стал медленно размешивать их ложкой. Видела бы жена, чем его потчуют, разговоров было бы на час, не меньше.

Выпив кофе, почувствовал прилив сил. Он знал, что это всего лишь самообман, и все-таки поддался ему.

Вбежал диспетчер.

Горноспасатели подняли человека.

Гавлик помчался в медпункт.

На белой холодной кушетке лежал старый Пёнтек. На обнаженном дряблом теле, добела выполосканном водой, видно было каждое пятнышко, каждый шрам, синевшие въевшейся под кожу угольной пылью. На лице его застыла улыбка, чуть прикрытые глаза неподвижно смотрели вверх.

— Что же вы стоите,— закричал Гавлик,— где кислородный аппарат, почему не пробуете массаж сердца? Почему не отправляете его в госпиталь? Его должны привести в себя! Там же целое отделение работает!

— Он мертв,— произнес врач устало,— они могут определить причину смерти, но воскресить его не воскресят. Чудес мы не делаем.

— Не делаете! Вы, с вашей наукой — и не делаете чудес! — Директор вцепился в белый халат врача и орал ему прямо в лицо. — Вы не делаете, а он — делал! Вы просили уголь — и он вам его добывал, задницей голой готов был камень пробивать, чтоб вы выжили, а вы чудес не делаете! Мы, мы, все можем только мы!

Доктор вывернулся из-под его рук.

— Вот, примите, товарищ директор.

Гавлик выбил таблетки из рук врача и резко оттолкнул его в сторону.

— Идиот!

Но красноватая пелена ярости рассеялась, он помял рукой лицо, сам того не зная, повторив жест, перенятый им в мальчишеские годы у Пёнтека, и тихо извинился.

— Простите, доктор, простите меня, пожалуйста.

Врач только рукой махнул.

Гавлик повернулся к мертвому телу, жалкая нагота показалась ему невыносимой. Сняв пиджак, он укрыл покойника, забыв обо всех бумагах и ручках, расованных по карманам. Безуспешно попытался сомкнуть его веки — Пёнтек все так же глядел перед собой.

Не выдержав, Гавлик бросился из кабинета. В конце коридора встал, впершись лбом в холодное оконное стекло. Закрыв глаза.

В памяти вставал пронизательный, чуть язвительный взгляд старого шахтера из-под мохнатых бровей. Совсем недавно, на Новый год, Гавлика словно подхлестнуло, когда он поймал его на себе. Может, и раньше старик так поглядывал, только он не замечал.

— Все смотрю на вас... Вы случайно, не Пёнтек? Я почему-то засомневался.

— Да я даже не растолстел, начальник, я все такой же.

Но тут кто-то отозвал его в сторону, разговор остался незаконченным, хотя от Пёнтека он отошел с облегчением — ответил тот с ехидцей, и приятного в этом было мало.

Неслышно подошла Адамчикова. Взяла его за локоть.

— Оденьтесь, простудитесь.

Он послушно натянул на себя пиджак.

— В данном случае медицина бессильна, товарищ директор. Правда.

— Знаю. Я у него начинал, понимаете? Он меня учил, как взять в руки обушок, бур, показывал, как кровлю закреплять, сколько раз успевал меня оттолкнуть, когда порою падала сверху, — а я за все эти годы о нем даже не подумал. Когда сюда директором вернулся, он мог бы при-

йти на прием, мало ли, что ему было нужно, а он от меня ничего не потребовал, выходит, все только я от него. Сам я, сам должен был о нем вспомнить.

Обратно они шли вместе, Адамчикова молчала.

— Хотя выпить-то вместе с ним мы могли, черт побери, почему времени у меня ни на что не хватает? В первую очередь, на то, что действительно важно. От чего многое зависит. А правда, от чего главное в нашей жизни зависит, Ирена?

В отчаянии он схватил ее за руки.

— Пропади все пропадом, если бы можно было время вернуть назад!

Ее спокойное, сосредоточенное лицо осветилось понимающей улыбкой, только в глазах стояли слезы.

XVI

ни по-прежнему сидели на глыбах породы друг возле друга, опаленные изнутри жаром жажды.

Выметал, встав, выбрал три лампы поярче и отнес к стволу, расставив так, чтобы горноспасатели их не проглядели.

Свет едва мерцал. Испытание почти полной темнотой. Голодом. Жаждой. Но голов они не вешали. Их счастье: смертоносный газ лежал у ног.

Опершись головой о стену, Выметал задумчиво смотрел на угасавшие огоньки. Когда-то давно вот так же меркли звезды, он навзничь лежал на снегу, безучастно наблюдая, как постепенно они тают, ощущая сладкую уверенность, что уйдет вместе с ними. Хрустального сиянья дня больше не будет. На нем была ненавистная зеленая форма, которая превращала его в солдата по имени Wimetal Erich*. Ему было восемнадцать.

Сосновый бор темнел в нескольких шагах, до него он не добежал.

Деревня догорала, он понял это по розоватому зареву. Такое бывает над Островой, бесконечно далекой отсюда. Он был уверен, что уже никогда не вернется туда, но и это его не печалило. Остывший мозг просил только тишины. Звездной ночи предшествовал страшный сон.

Он стоял с нацеленным ружьем, в горле жгло от положенной порции спирта, мушка прыгала перед глазами. У свежей могилы стояли люди, закутанные женщины, подро-

* Немецкое написание чешского имени.

сток, несколько стариков, кучка детей, жавшихся к девушке со светлыми косами и прозрачно-голубыми глазами.

Она пела.

Ее песня не умолкла и тогда, когда, подкошенная, девушка упала в яму.

Он старался стрелять мимо, даже оглушенный алкоголем, понимая, что точное попадание было бы куда милосерднее, но решиться на это не мог. И командира взять на мушку рука не поднималась.

Над могилой вырос холмик земли, а ему все слышалось пение. Песня звучала высоко, звонко. Ночью Выметал ползком выбрался из части. Смертельный ужас обуял его, не выдержав, он поднялся во весь рост и кинулся бежать.

Вдогонку стреляли, он упал, но смог еще проползти чуть ближе к лесу. Они снова начали стрелять. Он кинул гранату. По своим. Вторую. И понял, что больше не принадлежит к ним. Да и не по своей воле был он с ними.

Он прополз дальше и скатился в какую-то впадину. Выбраться не было сил, повернувшись на спину, он стал глядеть на звезды. На розовое зарево.

Кругом стояла тишина. Его подразделение, скорее всего, уже ушло. Никого не было слышно и со стороны леса. Жизнь покидала его, не причиняя боли, отдаляясь, как засыпанная песня.

Вытянув руку, он набрал в ладонь снег. Не донесенная до рта, рыхлая горсточка припорошила лицо. И тут его коснулось теплое, сладкое дыхание.

Саша. Сестричка из партизанского отряда.

Выметал никогда не рассказывал, как воевал, он пропитался воспоминаниям, щадя себя. Яростные атаки, преодоление страха, упоение боем, мужская дружба, леденящие кровь картины войны, а в короткие затишья — минутная, ничем не защищенная любовь украдкой, такая горячая, такая сладкая.

Но сейчас, как ни бежал он прочь от воспоминаний, они все-таки настигли его. И отступать было некуда. Боевое крещение в партизанском отряде было беспощадным: две его гранаты разорвали Курта и Пауля — тех, с кем в ногу шагал, делился куском хлеба и глотком воды, спал бок о бок, когда они пытались согреть друг друга. Да, они первыми открыли по нему огонь, тогда, во время бегства, ранили, лечиться пришлось долго, все равно вид обезображенных тел произвел на него гнетущее впечатление, оставшись в памяти незаживающей раной. Отмщенным он себя не чувствовал, ощущая лишь темный ужас.

Любовь украдкой, первая в его жизни, закончилась с первым весенним ветерком. Его влажное дыхание вытянуло листочки из почек, ветви засветились зеленым опереньем. Но та весна запомнилась ему не свежим горьковатым ароматом, а сладким трупным запахом.

Теплый ветерок лишил повешенную человеческого обличья, он узнал ее, сам не понимая как: может, по волосам, промытым дождем, просушенным весенним солнцем.

Не проронив ни слова, Эрих начал рыть могилу, на дне просочилась вода, пройдя дальше, к самому лесу, он стал копать заново. Товарищи помогали ему, каждый понимал, что нет в мире слов, способных хоть что-нибудь изменить.

До могилы он донес ее сам. Увязая в грязи, с трудом тащил тяжелую ношу, которая имела так мало общего с Сашей. Прядка волос приклеилась к шинели, он отделил ее осторожно, волосок за волоском. Опустил тело в яму, на хвойный настил, прикрыл анемонами то, что было когда-то ее полудетским лицом с зелеными глазами, удивленно поднятыми бровями, веснушками на носу. Полными горстями, не сложенными в букет, засыпал лицо смерти.

Выметал похоронил ее, но иногда ночами она возвращалась к нему, сливаясь в один образ с девушкой на краю братской могилы, сам он стоял с ружьем и решал, застрелить ее или закопать заживо, стонал во сне, жена будила его ласковым прикосновеньем, клала руку ему на лоб, приносила воды. И каждый раз по-матерински голубила его.

Жили они хорошо, тихо, без бурных страстей, когда его одолевали тяжкие мысли, жена не докучала, целиком сосредоточившись на хозяйстве и детях. Ее истинным пристрастием было чистое белье, она упорно отказывалась от стиральной машины, замачивала, намыливала, отстирывала, кипятила, терла о стиральную доску, прополаскивала в нескольких водах, подсинивала, подкрахмаливала, в саду вечно развевалось белье — над капустой и помидорами, над слякотью ли, над снегом, или над зеленой лужайкой, усыпанной одуванчиками. Из вечера в вечер она наглаживала полотно, любовно складывая в стопку выбеленные, ровные, как листы бумаги, пододеяльники.

Подражая ей, дочки с малолетства плескались в воде, возились с лоханочками и корытцами, враз превращая кукол в голышей, развешивая их наряды сушиться по кустам.

Может, поэтому из детей его больше тянуло к старшему мальчику, носившему чужое имя. Выметал усыновил его не просто из чувства долга перед погибшим товарищем, он

стал ему настоящим отцом, один понимал другого с полувзгляда, они сплотились под натиском четырех женщин в доме.

Он почувствовал внутренний холодок. С едва мерцавшими огоньками ламп угасала надежда.

Так-то он малый добрый, разумный, семью в беде не бросит. Еще бы пару лет его поддержать, пока сам не встанет на ноги. Везет же парню — потерять отца во второй раз.

Думы о вечной разлуке не вызывали у него ни скорби, ни печали. С тех минут, когда нес Сашу, боль уснула в нем навек, он разучился ее чувствовать. Заботливо вернув ему жизнь тогда, в снегу, Саша сама же и угасила ее, представ перед ним в последний раз. С тех пор душа была мертва, холодна.

Не мучился он и тем, что покидает семью, его тревожило лишь то, что она остается без кормильца. Да и то, зная, что им помогут, был спокоен.

Интересно, чем они сейчас там дома занимаются?

Дочки устроили возню в кровати, а старший сидит наверху, занимается, вместе они перестроили чердак в уютную комнатку, достали лиственницы, обшили стены деревом, сами соорудили нехитрую мебель, полочки, стол, парню это нравилось, сроднились они с ним, совсем сроднились.

Жена ждет, наверное, ей уже что-нибудь сообщили; правду, конечно, скрыли до тех пор, пока его не найдут, убедили, что, мол, срочная работа, но ее так просто не проведешь.

Она ждет. Распустила тугой пучок волос, расчесывает, заплетает их в свободную косу, надевает длинную, белую, совсем старомодную рубашку, источая аромат миндаля и чуть подпаленного белья, такая робкая и стыдливая.

И такая пылкая.

Выметал подошел к стволу и несколько раз покачал лампой. Его убивала вынужденная бездеятельность. Надо хоть что-нибудь делать для спасения.

Бригадир вопросительно взглянул на него. Показал в темноту, где, по его догадке, висела мертвая клеть.

Выметал пожал плечами.

В темноте ничто не шевельнулось, лишь грохотала вода.

Стшалка попробовал сделать глоток. В горле словно застрял раскаленный клубок.

Он настороженно следил за Пицмаусом, пару раз ре-

бята уже приструнивали его, чтоб не бегал зря с места на место, и теперь все беспокойство сосредоточилось в его испуганных глазах. Острый носик, казалось, подрагивает, чуя опасность.

Вид у Пицмауса был жалкий, казалось странным, как мог он стать мишенью для насмешек. Смешной была только фамилия. Он всегда придирчиво следил, чтобы ее правильно произносили, в остальном же это была фигура, скорее, трагическая. Пылу у него хватало на любую работу, а результаты всегда были плачевными, его анкета была длинным перечнем самых невероятных профессий — даже и не скажешь, что есть такие на белом свете. Не прогульщик, не лентяй, Пицмаус, вечно охваченный бессмысленным усердием, именно из-за него так и не постиг до конца ни одного ремесла. Бригада, как своих, приняла и Зденека, и Роглену, хотя ни тот, ни другой святыми не были и время от времени «уходили в загул», но Пицмауса все как-то чурались.

Раз в кино показывали документальный фильм о кибернетической мышке, учившейся обходить препятствия в лабиринте. Так же отчаянно метался Пицмаус в лабиринте мира: влево — вправо, влево — вправо...

Глянуть бы на дом, что он строит, посмеивались шахтеры за его спиной, небось, с трубы начал, или окна прорубить забыл, а свет в мешке таскает.

Бедняга Кышмышка сидел теперь вместе со всеми в ловушке, блуждая в темноте полными испуга глазами. Стшалка смотрел на него, не отрываясь. Ему казалось, что своим взглядом он хоть немного его подбадривает. Но обезумевший от ужаса Пицмаус жался к Михалу так же, как Зденек и все остальные.

Стшалка все понимал, но чувствовал горькую несправедливость. Он сколько всего передумал-перепробовал, вконец сомнениями измучился, а их так и притягивает Михал своей молчаливой, спокойной уверенностью.

Перераспределение сил Стшалка заметил давно, почувствовал неприязнь к Михалу, но стыдась недоброго чувства, пытался совладать с ним.

Трудно сказать, когда их отношения дали первую трещину. Михал был обязан ему всем, если бы не помощь Ярека на первых порах, на шахте он бы не остался. Сперва казалось, не годится Михал в углекопы, приспособиться не сумеет — уж больно велик для шахты. Но он настолько владел своим могучим телом, что не чувствовал себя стесненным даже в узких ходах, а сноровкой без труда догнал

Эриха. Признавал это даже старый Пёнтек, правда, молча и хмуро.

Ярека замутило, он попытался представить себе, как погиб Пёнтек. Не мог он смириться с его смертью, мысль о ней упорно мучила его. Пёнтек с Выметалом были основой бригады, ее ядром. Большинство новичков приходили и уходили, «дембили» — Роглена и Медведь — держались вон уже сколько лет, малыш Ёжик, кажется, мировой парень. Индра Ткач болен и навряд ли вернется, у Комара руки золотые, но голова не шибко варит. Стшалка замер: вот уж для кого удар ниже пояса — променял бедняга Комар тихую воду южно-чешских прудов на зловонный водопад.

Собственные мысли вдруг показались Стшалке безумными, подумать только, разбирать каждого по косточкам в самый неподходящий момент. Околеем тут — все героями станем, смерть уравнивает все достоинства и недостатки. А живы будем — сразу придется замену искать: Зденек и Пицмаус в первый же день деру дадут.

Михал останется, это уже свой. Он теперь, пожалуй, и Выметалу фору даст. Эрих не то чтоб отставал, нет, он точный, как часы, работает без усталости, как машина, но в то же время работа его ничуть не волнует, душу не затрагивает. Одно время двинули его в шахтком — заслужил своим прошлым, но не доставало ему красноречия — ни убедить никого не умел, ни сатирить, людям казалось, он глух к их бедам. А ведь Эрих не такой, сердце у него доброе, вон, детей чужих усыновил, другой бы не преминул похвалиться лишним раз, а Эрих помалкивает.

Странный он все-таки экземпляр. Вроде меня. Нет во мне того, к чему люди сразу тянутся, не горю — тлею, не ослепит этот свет никого, не согреет.

Ярек с надеждой посмотрел на друзей. Глаза Михала сверкнули подбадривающей искоркой, но он не ответил, неподвижно уставившись на угасающие лампы.

Внезапно Стшалка осознал истинную причину своей тягостной ревности, в душе он никак не хотел с ней мириться, настолько недостойной она ему казалась. Он попытался отогнать эту мысль, отер ладонью потный лоб, но она неотступно глодала его изнутри. Наверняка освободиться от нее можно было только поделившись ею, но все они были лишены возможности слова. И хотя, прикоснувшись, любовью мог ощутить рядом товарища, каждый из них был жасающе одинок.

Вера.

Стыд нахлынул на него. Но отмахнуться от нее он не мог, воспользовавшись темнотой, она проникла, проскользнула сюда, вот ее лицо-солнышко в нимбе растрепанных ветром волос, умоляюще сложив руки, она приближалась к нему с растерянной улыбкой.

Вера.

Тогда, на станции, она обратилась к нему так неожиданно; обернувшись на зов, он тут же попятился, его не меньше удивило бы, если бы ласточка, прервав ни с того ни с сего свой полет, опустилась бы на плечо, слегка задев лицо крылышками. Девушка даже не прикоснулась к нему, но, подойдя, обдала волной нежности, каждое ее слово было ярким хрупким цветком, высеченной искоркой, легкой бабочкой.

Он знал теперь, что она и есть счастье.

У него не было сомнений, что он заслужил его, прожив жизнь, достойную хрестоматии. Одно ремесло осваивал за другим, ничего больше в жизни не было, промежутки же были заполнены всеми оттенками серого. Если суждено дожить до старости, может, выпадут на его долю хоть осколки радости — ледяная горка, варка варенья, островок левкоев, веселая ярмарка, карусель, праздничные булочки, писк вылупившихся птенцов. Но сейчас, в неполные тридцать, ему казалось, что жизнь его всегда теснили и теснят большие и маленькие каменные плиты, их становится все больше, и, подступая все ближе, они заставляют его превозмогать усталость. Лес — это был сбор хвороста, шишек, черники — бесконечные ягодка за ягодкой, назойливая мошара по утрам и комарье вечерами; на рассвете он тащил ягоды на рынок, в школе старался слушать внимательно, днем возвращался домой, еле поднимая в гору керосин, хлеб, гвозди, муку, соль — летом на спине, зимой на санках. И две младшие сестренки впридачу.

Потом было училище, по праздникам и воскресеньям работа в поле или на рубке леса, и, наконец, шахта, настоящая, уже сознательная работа, упоение трудом, немного славы, отравленной страхом перед завистью других, удостоверение ударника, пачки денег, часть которых неизбежно уходила на выпивку за большим столом, чтобы не упасть в глазах товарищей. Остальное пошло на содержание дома, приданое сестрам; работа заслонила собой весь горизонт, он потонул в ней, захлебнулся до полного равнодушия ко всему, что ее не касалось. Были у него девушки, но ни одна не пожелала мириться с его вечной занятостью, расставался он с ними без сожаления.

В тот день он возвращался в Оставу из дома, ставшего совсем чужим — сестры обзавелись своими семьями, родители крутились с внуками, он стоял на платформе один-одинешенек на всем белом свете, как вдруг почувствовал приближение счастья.

Растерявшись, он не сообразил, как удержать его, не решился даже протянуть к нему руки. Растерянность имела свою причину — за солнечной девушкой повсюду следовала ее блеклая, серая тень.

Вера договорилась встретиться с ним, чтобы вернуть эти дурацкие двадцать крон, и он до сих пор не мог простить ей ту тщательность, с которой, аккуратно подгладив брюки и рубашку, он вырядился в праздничный костюм, целый час выбирал галстук, дважды побрился, выпросив у ребят одеколон, покупал самые дорогие из всех предложенных в магазине цветы, концы пришлось обрезать, чтобы они вошли в портфель. Столько трудов и волнений — а она посылает вместо себя это бледное отражение, мышку, жалкую букашку.

Цветы так и вернулись бы в общежитие, но одна гвоздика высунулась из щели портфеля, в жару ее аромат казался особенно пронзительным.

Дорого же вам обошлась эта двадцатка, стоит ли так тратиться, молодость не вечна.

Не так уж я и молод.

Молод, молод! Но и старость не за горами.

Ишь, какая рассудительная. И довольно симпатичная. В бедрах широковата. Лифчик третий или четвертый размер. Любит цветы.

Не пойму, к чему вы покупали гвоздики?

Сам не знаю.

Она не улыбнулась, лишь испытующе поглядела.

Вы Веру ждали?

Кто это — ваша подружка?

Он старался уйти от ее взгляда, но кровь бросилась ему в лицо. Ах ты, старый пень, только краснеть еще не хватало!

Ну, помните, не я же у вас деньги занимала.

Но вернуть их пришли вы.

Ответ пришелся ей по душе.

Вера ужасно легкомысленная, она обязательно бы забыла, будьте уверены, вообще-то она мне даже не подружка, просто я с детства за ней смотрю, мать ее вечно меня просила, чтоб я за ней приглядывала, это же настоящий сорванец.

С детства?

Ну, со школы. А теперь она с каким-то Даном встречается, после гимназии они вместе в институт поступают, ей семнадцать всего, а у них уже все по-настоящему, ну, вы понимаете...

Ну и язычок, подумал он раздраженно, только бы сплетничать. Но девушку не останавливал, ему было приятно слушать о Вере что угодно, сплетни — и то ублажали слух.

Он назначал Милушке все новые и новые свидания в надежде, что однажды подвернется случай встретиться с Верой, и тогда уж он сумеет с ней объясниться, но этому не суждено было сбыться. Уже позже он понял Милушкину тактику — вцепившись мертвой хваткой, она не собиралась отступать.

В конечном итоге он смирился с тенью счастья, серой, неопределенной.

Я несправедлив, Милушка жена как жена. Работящая, старательная, скромная и экономная, разумная и внимательная, за столом своей тарелки он никогда не ждал, завтрак и чистое белье она приготавливает ни разу не забыла, за всю беременность хоть бы на что пожаловалась, и ссор между ними не бывало — она сразу отступала. Другие жены чуть не бесятся, если воскресная смена, пият — мол, вам все равно где, только бы не дома, а Милушка улыбается себе: ничего, Яречек, я пока тут приберусь потихоньку, и к рождению маленького все лишняя копейка.

Малыша и на свете еще нет, а на него уже отдельный конверт заведен, я и ахнуть не успел — всю зарплату к рукам прибрала. Два раза в месяц мы усаживаемся за стол, раскладываем деньги кучками, перекладываем из одной в другую, советуемся (как же я все это ненавижу!), Милушка довольно воркует — вот и все наши любовные игры.

Голова кругом!

Она ему еще перед свадьбой рассказывала, представляешь, какая Вера испорченная, все, говорит, ерунда, сначала голова кругом, а потом — тишина.

Голова кругом!

Да это был просто титанический труд, сначала она отбивалась как ненормальная, потом смирилась, покорилась судьбе, как в зубоврачебном кресле, а когда все осталось позади, на лице ее было написано такое облегчение.

Спи, Яречек, завтра вставать чуть свет.

Всю жизнь он все был должен, должен, должен: если бы хоть на несколько дней, хоть на несколько часов он мог

сбросить панцирь обязанностей и остаться беззаботным, веселым, легкомысленным.

На него нашло спокойствие. Он не мог умереть тут, это было бы слишком несправедливо. Жизнь задолжала ему кое-что — маленький кусочек цветного, солнечного счастья.

Может быть, он обретет его в ребенке, сыне или дочке, детство повторится, но теперь уже радостное, он накупит игрушек, о которых напрасно мечтал когда-то, они вместе будут строить железную дорогу с тоннелями и станциями, запускать поезд, до самой темноты бродить по лесу или так просто носиться по траве, собирать малину и запихивать ее прямо в рот.

Ребенок помирится, сблизит его с Милушкой, озарит тень, расцветит ее, пока она не примет вид вождя счастья.

Но здесь, глубоко под землей, он никак не мог представить своего будущего ребенка, в темноте перед глазами вставал только вздутый розовый живот, протканный синеватыми жилками, он чувствовал его все ближе, различая шевеления сокрытого в нем плода, но склонилась над ним совсем другая, солнечная головка.

Он застонал.

Михал заботливо взял его за руку.

Ярек кивнул, мол, все в порядке, попытался улыбнуться глазами. Михал ответил тем же. Так, быстро переглянувшись, они поддерживали друг друга.

Михала тягостные мысли не мучили, больше всего он страдал от жажды. Она вызывала в сознании одну и ту же картину — сочная зелень, толстые водянистые стебли хрустят под девичьими пальцами, под сорванными калужницами открывается чистая голубая лента, и он представлял себе, как, упав на прохладную траву, лицом прямо в ручей, гасит застрявший в горле раскаленный кусок.

Вот они в его родных краях, на Высочине, вода прозрачно-чистая, на дне серебрится слюда, мелькает форель. Вера карабкается на берег, нагибается за земляникой, голые загоревшие ноги отражаются в воде, сорвавшийся камешек падает вниз, изображение колышется. Вера протягивает ему свою добычу, они смеются, он захватывает недозревшие кислые ягодки из ее ладони прямо губами — хорошая, хорошая коняшка, не кусается.

А сама кусает его в ухо. Он и забыл — с ней всегда надо быть начеку, маленькая, быстрая змейка, она торжествует, оставляя след на его теле.

Верка, с ума сошла, знаешь, ребята как в душе издеваются?

Как будто она не знает.

Не знаю. Небось, завидуют?

Я бы ее на твоём месте по губам, кипел Ярек. Правильно, я с ней только так, хорохорился Михал.

Вера присасывается к его плечу. Да здесь, на Высочине, их полдеревни может увидеть!

Знаешь, Верка, ты кто? Чудище морское!

Да? А я и моря-то в жизни не видела.

Значит, увидишь.

Честно?

Она опускает в воду босые ноги. Болтает ими. Покрывные лаком ногти под водой похожи на розовые камешки. Михал хватается их, боясь, что они уплывут.

Твоей маме я не очень, а, Миш?

Почему? Ты ей понравилась.

Она тебе говорила?

Ну, в общем, да.

А в частности? В частности что сказала?

Я не записывал.

Но он точно помнил каждое слово. Когда они с матерью остались наедине, она замолчала. А он слишком хорошо знал ее, чтобы спрашивать.

Ты уже решил или пришел посоветоваться?

Решил.

Я так сразу и подумала.

Тебе Вера не нравится?

Почему же, но это не та наседка, что несет золотые яйца. Да и простых от нее не жди.

Мой лучший друг по-другому говорит: лицом пригожа — руками негожа.

Не для шахтера она.

А для кого же?

Ни для кого. Она для радости. Для счастья. А счастье человеку рядом с собой всю жизнь не удержать.

Я так понимаю, ты не советуешь мне на ней жениться.

Наоборот, Миша, я советую жениться. Если ты будешь счастлив год или хотя бы полгода или еще меньше...

Она расплакалась.

Плохая я мать, Миша, никогда мне разума не хватало, ты же знаешь, как я тебя на свет родила, у меня для тебя, голодного, иной раз крошки не было, вот и теперь — разве правильный совет я тебе даю?

Он обнял ее, поднял над собой и закружил, как давно когда-то, мальчишкой, пробуя свою силу.

Не переживай, мам, даже если бы ты меня отговаривала, я бы тебя не послушался.

Вскарабкавшись на большой камень, Вера балансирует руками, морщит нос, солнце льет на нее золото через неровные кружева листы.

Говори, медвежонок, или утоплюсь.

Топись!

Она плюхается прямо в платье, высоко взлетают брызги. Перевернувшись на спину, с намокшими волосами, она, смеясь, протягивает к нему руки. Он подхватывает их, чтобы помочь ей выбраться, но она и его тащит в воду.

Ну и bestия же ты, Верка.

Кто, кто? А ну еще раз повтори.

Хохочет во все горло, топит его, но следит, чтобы голова не задержалась под водой слишком долго.

Да я тебя сейчас утоплю, бродяга ты этакий!

Они целуются как сумасшедшие, скрытые широкими листьями девясилы, ласковая вода журчаньем приглушает их вздохи, подстилает им шелковый песок, омывает чистыми ключами.

Медведь вздрогнул. Зловещий рокот вернул его к действительности. Не может же счастье быть таким коротким, не может, не бывает так, мама, мамочка, Вера, милая моя.

Ему захотелось кричать во все горло, но он только крепче стиснул зубы. Оглядел товарищей — свет угасал, их фигуры становились все призрачнее.

Молчаливо они сторожили тлеющий огонек. На ничейной земле. На островке, окруженном пожирающей его водой. Он знал, что теперь останется с ними до самого конца.

XVII

Раз уж впустили отчаявшихся Веру и Милушку на шахту, пришлось о них всячески позаботиться. Приволокли в шахтком кресла, кофе перед ними поставили, сифон зарядили, открыли банки с фруктовым соком, и конфеты нашлись, и апельсины, и пара яблок. Фикейс своими непривычными к тонкой работе руками вырезал из бумаги кружевные салфеточки — глупо, но трогательно.

Не зная, чем бы их занять, он пытался пару раз завести с ними разговор, но Колигова так осаждала его взглядом, что у него вдох-то в горле застрял, не то что слово. Вторая

устроилась в кресле поудобнее, он еще и стул придвинул, чтобы дать отдых ее отекившим ногам: сложив руки на огромном животе, она уставила оцепеневший взгляд в пустое пространство.

Поди ж ты, всех как ветром сдуло в соседний кабинет, бросили его тут одного на произвол судьбы, ладно же, остальных пусть сами оповещают, а его в жизни больше никто не заставит вот так крутиться с бабами, уж лучше десять раз с горноспасателями спуститься. Жаль, больше врач не пускает.

— Конфетку хотите? Может, апельсин очистить, а?

Раскрыв складной нож, Фикейс осторожно надрезал кожуру, по комнате разлился аромат эфирного масла. Соорудив красивый цветок с аккуратными лепестками — как для внучат — он поставил его перед Милушкой.

— Подкрепитесь.

Она перевела на него отсутствующий взгляд.

Не успеют школу кончить, а уже замуж выскакивают, подумал он возмущенно. Строят из себя матрон. Смотреть тошно. За шкурку бы их сейчас да выкинуть отсюда, подумаешь, страдалицы!

Он занялся вторым апельсином, дужками обозначил глаза, подцепив кусочек кожуры, превратил его в нос, вырезал белые зубы в широком оранжевом рту — поставив чертика на ладони, протянул его Вере.

Слегка улынувшись, она приняла его.

Им с куклами впору цацкаться, а не мужей ждать у ворот шахты.

— Может, вам почитать что-нибудь найти?

Он порылся на полке, но результаты были весьма скромными — куча брошюр в помощь агитатору, нетронутая кipa журналов, детектив без обложки. Он быстро сунил его подальше — в первой же фразе бросилось в глаза слово «труп». Вытащил два подарочных альбома с видами Острavy, пусть хоть картинки посмотрят.

Зазвонил телефон.

— Пёнтека? Что, правда? Старого Пёнтека? Ага, ага, позвони в комитет, они все там сидят.

Положив трубку, он уткнулся в книгу, зарекившись передавать новость своим подопечным, но растерянное выражение лица выдало его.

— Что-нибудь случилось?

— Пёнтека нашли?

— Нашли.

— Что он говорит?

Фикейс отвернулся к полке.

Вера тихо охнула, потолок закачался и поплыл прямо на нее, она выкинула вверх руки, но, не справившись с тяжестью, упала.

— Что тут поделаешь, ничего тут не поделаешь.

— Вера, ты что, Вера, это еще ничего не значит, слышишь, Вер, это совершенно ничего не значит.

Она пришла в себя. Послушно глотнула воды.

— Говорю тебе, это еще ничего не значит.

Смешно: отхаживала ее Милушка, имевшая на обморок куда больше прав. А держалась молодцом.

— Ничего не значит, точно я тебе говорю,— бубнила она, уговаривая Веру и самое себя.

Конечно, ничего, кроме одного: старого Пёнтека больше нет. Разве не сидел он несколько дней назад за столом напротив, оглядывая ее из-под нахмуренных бровей, глаза с покрасневшими белками то и дело раздражались искрой, пронзительный взгляд полосовал бритвой. Острие словно касалось кожи, становилось не по себе. Дед казался ей препротивным, она с ним словом ни разу не перекинулась, улыбки не удостоила, все нос воротила — страшно воняло от него дешевым табаком.

А теперь нет его больше. Мертв. Не может он быть мертв! Никто из них. Не может и не должен. Просто не смеет.

Вера не замечала, что качает головой из стороны в сторону, выражая свое «нет», пытаясь уйти от боли, от времени.

— Прекрати! — прикрикнула на нее Милушка, — да прекрати же! Чего ты качаешься, как медведь...

Бывают в жизни минуты, когда даже самые обычные слова обрастают шипами, причиняя острую боль, а непреднамеренные удары оказываются самыми точными. Милушка уже сама не рада была своим словам, боль заставила Веру опомниться, она замерла.

Медведь. Медвежонок. Миша.

Еще раз положить ему голову на грудь. Разочек.

— Примите-ка вот это. Не бойтесь, я врач, — Адамчикова протянула ей таблетку и стакан с водой.

— Но я совсем не хочу заснуть.

— Вы просто немного успокойтесь. А уснуть не уснете, обещаю вам.

Вера проглотила таблетку. Милушка наблюдала за ней с укоризной. Вера медленно перевела взгляд на Милушкин туго обтянутый живот: на нем вдруг вздулся небольшой

бугорок, передвинулся и исчез совсем, чтобы тут же вырасти в другом месте. Милушка прослеживала его путь ладонью.

Ей легче, подумала Вера, ей ждать не в тягость, она носит любовь в себе, ее опора всегда при ней, осязаемая. Живая. Живая!

А я одна.

Она сжалась в комочек в кресле, прикрыла веки, и звуки голосов приобрели силу удара.

— ...нет, он с «Победного Февраля» * ушел, переехал в Карвину **. А второй работает машинистом на шахте имени Швермы, в общезнании живет, знаете, эти дома напротив автобусной остановки на Нововесской. Дочери его дали квартиру у нас, в Порубе, рядом с торговым центром где-то, не припомню, как теперь ее фамилия.

Деловой тон Милушки коробил Веру. Она полистала книжку. Вздогнула, наткнувшись на снимок канатной дороги над Черным лугом — видно, не только слова, но и предметы обросли шипами, немилосердно впивавшимися в память.

Да еще это бездумное, унижительное свидание! Может, именно в ту минуту, когда Михал боролся за жизнь, я ноготочки свои подставляла этому идиоту для его сопливых поцелуев и слушала пустопорожний треп.

Впрочем, разве это что-нибудь меняет, имею же я право немного позабавиться. Какие все это глупости, нужно собраться, сосредоточиться, снять боль. Всего год назад я даже не знала о существовании Михала, в то время прочитала бы об аварии в газете с тем же интересом, что и «Черную хронику» ***. ну, екнуло бы сердце, так ведь даже приятно сознавать свою полную непричастность к такой далекой человеческой беде.

Не мог же он за какой-то там несчастный год врасти в меня так, что разлука стала невыносимой пыткой, я себе просто внушаю, на самом деле не такая уж это мука, нет, не может быть.

Но новая волна душевной боли подкатила к горлу, в глазах потемнело. Они могли бы расстаться тогда, может быть, и лучше было бы потерять его сразу.

К первому вечеру их совместной жизни он подготовился более чем тщательно. После ужина — разорился на де-

* Шахта в Острове.

** Шахтерский город в Остравско-Карвинском бассейне.

*** Ежедневная рубрика чехословацких газет, в которой сообщается об автомобильных авариях, уголовных преступлениях и т. д.

ликатысь! — она пошла в свою комнату. Со смеху можно было помереть, какие церемонии предшествовали их поездке. Прежде, чем Михал решился на последний шаг, он продемонстрировал классическую старомодность — или его вымуштровали на курсах бальных танцев, или он знал о любви только по книжкам.

Сколько раз они бывали в лесу наедине, но в последнюю минуту Михалу всегда удавалось совладать с собой. Ее это раздражало, она сразу вспоминала, как в детстве мать до невозможности затягивала рождественский ужин, подкладывая в тарелки все новые и новые куски, в то время как умиравшей от любопытства Вере не терпелось вернуть подарки.

К тебе можно, спросил он на пороге ее комнаты.

А чего мы тогда сюда ехали, скажи на милость?

Судя по всему, ответ его разозлил, он так и не вошел. Была жара, и Вера почти приклеилась к креслу, обитому черным дерматином.

Из-за волнистых гор вынырнула большая оранжевая луна-апельсин. Вот смешно. Вера ждала долго. Луна успела подняться, уменьшиться в размерах и побледнеть. Все так же похожая на апельсин, забавной она уже не казалась.

Наконец, она сдалась и сама пошла к Михалу. В дверь стучать не стала. Он стоял у открытого окна и смотрел на улицу.

Михал, может, у тебя не все дома?

Он обернулся. Чужой, ужасающе огромный. На призрачно-голубом фоне резко вырисовывалась его голова. Усмехнувшись, он взял ее на руки и отнес в кровать. Она услышала, как бьется его сердце, прижалась к нему и первой начала его целовать.

Вдруг любовь покинула его, он лег рядом. Повернувшись на живот, она ластилась к нему, но он съежился еще больше. И не прикоснулся к ней. Лежал рядом далекий, безучастный.

Сердишься, что я не девушка? Ну, ты что?

Да ничего.

Нет чего. Давай фант! Ухо, например.

Ногтями она вцепилась ему в мочку уха.

Он сердито вскочил. Рассмеявшись, встала и Вера.

Михал, ну что за трагедии из ковбойской жизни, ведь ничего же не случилось.

Ничего?

Они стояли друг против друга, как враги. Нагие, зали-

тые лунным светом. Ее нестерпимо тянуло к этому красивому, сильному человеку.

А жениться на мне вовсе необязательно, Михал, никто тебя не заставляет. Наши даже против.

Михал промолчал. Но она чувствовала, что он закипает. Стиснул зубы, на скулах заходили желваки. Взгляд злой, холодный. Он стоял рядом, сердитый исполин, но страх перед ним доставлял ей почти наслаждение. Нет, все, что исходит от этого мужчины, будет безраздельно принадлежать ей. Она почувствовала непреодолимое желание подзадорить его. Для чего, почему — ей и самой это было неведомо.

По крайней мере, прорепетировали перед свадьбой.

Михал побелел.

Она ждала, что он ударит ее, но не отступила, а сделала шаг вперед.

И часто ты так репетируешь?

А ты?

Оценки выставяешь? Очки?

Вера взвилась и изо всех сил ударила его по губам.

Он сжал ее плечи с неистовой силой. Потом произошло крушение мира, рушились скалы, камни неслись прямо на нее, как подрубленные, падали деревья, царапая ее шершавой корой, колючей хвоей, ни кричать, ни дышать она не могла, освобождаясь от бремени земного, она рвалась все выше, вцепляясь в гладкую кожу его мышц, укрощая своей лаской необузданную силу до тех пор, пока не выпестовала ее в нежность, в чуть слышные, сладкие шорохи дождя, в терпкий аромат.

Той, прежней Веры больше не было, она растаяла, разлилась бесплотной негой, рассеялась, все прошлое стерлось, растворившись в его силе, она возродилась иным созданием, чистым, невинным, счастливым.

Положив голову на грудь Михала, она расплакалась. Он не утешал ее. Только ласково гладил ее по волосам ладонью, подбородком, лбом, разбитыми губами.

Это за то, что ты заставил меня ждать.

Я понял.

Почему ты заставил меня ждать?

Не знаю. Мне все хотелось по-другому.

Как это — по-другому?

Ну, так.

Ничего, что я для тебя больше не тайна?

Ничего. А ничего, что я тебя люблю?

Ничего. А ничего, что ты — радость моя и опора?

Ничего. А ничего, что я на тебе женюсь?

Че-его. Вместо фанта можешь взять мое ухо. На, я свое запросто отдаю. Или руку на. Я вся твой фант. Ничего?

Он поцеловал ее. Она почувствовала на губах его кровь.

— Вера, ты прекратишь или нет!

Она вздрогнула и перестала раскачиваться. Хотя это приносило ей облегчение.

— Перестань, а то еще так останешься дурочкой.

— Не сердись, Милуш, я просто психую.— Она погладила подругу по руке.— Вместо того чтобы тебя успокаивать, я тебе еще и на нервы действую. Пойми ты, Милуш, не могу я себе представить, что...

— Ну хватит же!

Во взгляде не то отвращение, не то презрение.

Вера взяла апельсин. Стала медленно отрывать лепестки.

Прикидывается тут несчастной, а завтра же с другим и утешится, зло подумала Милушка, поймав ладонью движение плода. А я одна останусь, одна с ребенком. Все теряет смысл: квартира, которую Ярек своими руками отремонтировал, кафельная ванная, купленные в рассрочку вещи — все, одно за другим, в конвертах останутся мертвые, ничего не значащие бумажки.

Чашка будет обыкновенной чашкой, говяжьих отбивные превратятся в кровавые кусочки мяса, и уже никто не придаст им смысл своей похвалой. Платья станут тряпками, а умильный комплект для новорожденного никогда больше не засветится под его взглядом. И ребенок, так и не узнавший Ярека, будет не таким, как мечтали, вся моя жизнь превратится в тень прошлого.

Не бывать этому, Ярек вернется, он жив, он где-то там, под землей, он жив и думает обо мне, о ребенке, это придаст ему сил и поможет продержаться, пока его не найдут. Его найдут, должны найти, работают первоклассные горноспасатели, все начальство думает над картами, все сейчас делают больше, чем могут, его должны спасти, его должны найти, вот и малыш Йожин говорит, он тоже верит, он с ними до последней минуты был.

Вера с надеждой посмотрела на открытую дверь, но шаги удалились по коридору. Она отпила воды — первый глоток застрял болезненным комком.



диспетчеры сменяли один другого, только главный инженер Адамчик оставался на посту. Все человеческие потребности в нем угасли, работал только мозг — принимал сообщения, автоматически оценивал их, определял меры по спасению людей и шахты.

Еще утром диспетчерская гудела от множества голосов и звуков; заглушая друг друга, спорили о порожняке, крепежном лесе, запчастях, кто-то спешил, кто-то упрямо стоял на своем, кто-то грубовато отвечал на упрек. Но сейчас все подчинилось одному ритму невеселой песни с отчаянным рефреном: приток воды прежний.

Домой Йожин не пошел, и никто не посмел отправить его с шахты: ведь он был из той самой, попавшей в аварию бригады. Сидеть сложа руки малыш не мог, работой его не заняли, и он тихо сновал туда-сюда. Поняв, что разрешения на спуск ему не видать, он перестал настаивать, добровольно взяв на себя роль связного между диспетчерской, кабинетом Гавлика и медпунктом, заходил к горноспасателям и, когда они возвращались ни с чем, услужливо предлагал им кофе; время от времени заглядывал к томящимся в ожидании Вере и Милушке, раз даже решился подбодрить их улыбкой.

Йожин расхаживал по коридорам, как упрек и живая надежда, его сопение за спиной стерпел даже главный инженер, более того, он спросил:

— А ты, куда бы ты бежал от воды? Наверх или вниз?

— Я бы наверх. Ясное дело, наверх.

— Но ведь выход пока есть только через нижний горизонт.

— Зато наверх вода не достанет, нет, я б наверх пошел, да повыше.

Наверху они задохнулись бы от метана. Внизу — от сероводорода. Небогатый выбор.

— О камере повышенного давления ты когда-нибудь слышал?

— Да, мы в училище проходили. У нас там ничего такого не было.

— Но нечто вроде можно было бы соорудить.

Йожин выпучил свои наивные, как у телянка, глаза.

— Это в такой-то спешке? Да вы представляете себе, товарищ инженер, что там делалось?

Главный не ответил. Вопрос был праздный.

Сменив респираторы, водолазы в облегченных костюмах штурмовали ствол, едва выдерживая напор воды. За собой они с трудом тянули самоспасатели для потерпевших.

Аварийная комиссия пополнилась инженером Егером. Увлечения юношеских лет, казалось, помогли ему дожить до старости все тем же мальчишкой — маленькая, легкая фигурка почти не утратила прежней гибкости, светлые волосы без видимой границы переходили в седину. Мышиные усики казались приклеенными, заведенные, вероятно, для солидности, на моложавом лице с живыми, пытливыми глазами, они смотрелись комично.

Его вытащили сюда прямо из кровати, но выглядел он бодро; вдохнув аромат предложенного кофе, гримасой выразил свое удовлетворение и начал разбираться в картах.

— Я на шахте все оставил в полная Ordnung*, это вы тут заборделила, еще как заборделила!

Егеру и в голову бы не пришло, что обрonnenое им словечко войдет в обиход, пережив его самого, более того, воспоминания об этой аварии. Пройдут годы, и никто не вспомнит, какой бесконечной ночи обязано это выражение своим появлением.

Егер привез с собой составленную им хронику, переписанную красивым готическим почерком. Он знал ее почти наизусть, безошибочно открывая нужную страницу. В ней было собрано все найденное им в журналах и записях, слышанное от ветеранов, вычитанное в книгах.

— Это одна из самых старых шахт бассейна, здесь всегда можно наткнуться на старую выработку. Именно этот Ort** в начале века слишком взорвали, все тогда рухнуло, остался завал. Может быть, они это не обозначили или обозначили не там, где надо.

Покопавшись, он извлек нужные карты и разложил их на длинных столиках в хронологическом порядке. Такая дошность нервировала Гавлика, и он направился в диспетчерскую.

— Лебедка на четвертом исправна, но сигнализацию восстановить не можем,— встретил его Адамчик.

— Будете запускать?

— Будем. Водолазы, наконец, поднялись по запасному стволу, сейчас пытаются добраться до камеры.

— У меня там в кабинете чудо-юдо — крупный спец по старым картам.

* Порядок (нем.).

** Забой (нем.).

— Егер? Неужто старик Егер? Пойду-ка повидеюсь с ним.

Кивнув, Гавлик уселся на место главного. Услышав сообщение «Приток воды прежний», он громко фыркнул. Так бы и треснул по проклятому селектору!

Внезапно директора ужаснуло, как бездарно растрачиваются силы и знания человека — думали, шапками закидаем, а дело из рук вон, такого специалиста на пенсию списываем, и никому даже в голову не придет перевести его архив с немецкого и передать шахте, никто не возьмет на себя труд уговорить его поделиться опытом с молодежью, ветеранов под землю отправляем, а им место — наставниками в училище. Только Пёнтека такого черта с два уговоришь! Может, я и сам бы его убедил, если бы время выкроил. Да что там, разве я один виноват, все хороши, перечеркнули прошлое, живем, опережая время, самих себя — потом сами же и расплачиваемся.

Он обернулся — в диспетчерскую осторожно заглянул Йожин.

— Ничего нового, сынок.— Посмотрев на часы, он тяжело вздохнул. Было уже за полночь.

В этот момент селектор передал новость. Гавлик рта не успел раскрыть, как Йожин уже бросился в коридор.

— Комар жив! — оповещал он всех со счастливой улыбкой,— Комара нашли, живого! Нашли живого Комара! Жи-во-го!

Старый Егер оторвался от карт, очки съехали на кончик носа, в глазах стояло удивление. Комар в январе — это, конечно, редкость, но поднимать такой шум... Тронулся, видно, парнишка от пережитого.

— Комара нашли! — кричал Йожин, думая, что так понятней.— Офнера, Франтишека, он совсем живой, в камере его нашли.

Франтик Офнер действительно был «совсем живой», хотя сам не сразу поверил в это, когда его обнаружили. Оставшись в полном одиночестве, он уснул, как убитый, и теперь был уверен, что очнулся на том свете. Когда сознание, наконец, прояснилось, он не мог понять, куда попал — в рай или в ад.

Неведомая сила потрянула его не слишком деликатно. Посыпались пощечины. Соображал он всегда медленно, но на оплеухи реакция была молниеносной — вслепую он принялся размахивать руками налево и направо.

Конец света, подумал Комар, куда же я попал-то, не-

ужто во сне границу под землей переполз? Может, вода отнесла?

— Где остальные?

— O co pyta? Co chcecie wiedziec? *

— Черт возьми, вы что не понимаете, что ли? Где все наши?

— Musicie isc z nami na dół **.

Не нравилось ему все это. Он решительно отверг маску, которую они пытались на него водрузить, а когда потащили его к стволу, сопротивлялся, как помешанный. Но силы были неравные.

В медпункте к нему отнеслись с особым вниманием — поступило предупреждение, что стресс вызвал у пострадавшего помутнение рассудка. Диагноз был подтвержден тут же им самим, задавшим вопрос: какой поезд раньше идет, на Прагу или на Брно? Повторил его Комар и в машине — не давал он покоя его голове, свербил, как заноза.

Когда его тащили вниз под напором водопада, он отчетливо видел перед собой двух Павлинок, большую и маленькую, обе возникли перед глазами одновременно, малышка улыбалась у груди Павлинки-старшей, только что выпустив изо рта сосок и оставив на нем белую капелюку.

Тут же он забыл о бригаде, осталось только одно — домой, скорее домой, главное — попасть на вокзал, а дальше уж он сообразит, как добраться, спросит у добрых людей. В госпитале с ним вытворяли черт знает что — брали кровь, светили в глаза, стучали молоточком, наконец, он убедил их, что вполне можно сигануть через Прагу на Будейовице или через Брно на Иглаву, то есть, добраться можно или будейовицким через Прагу или иглавским через Брно, и его уже готовы были отпустить, но мокрые, провонявшие шахтерки остались неизвестно где, а сообразить, что бежать на вокзал в пижаме было бы по меньшей мере странно, ума у него все-таки хватило.

Его розовое лицо оставалось все таким же невозмутимым, но до чего же гнусно было на душе, тело Пёнтека, за которым он было рванулся, падало, и снова падало, много раз виделось ему в полубреду, как пропадал старик в пенящейся воде. Комар пытался забыться, отделаться от страшного видения, непрерывно проходящего перед его глазами, всеми силами он старался думать только о Павлинках, вспоминать нежную, теплую кожу, и ему казалось,

* О чем он спрашивает? Что хотите знать? (Польск.).

** Вы должны идти с нами вниз (польск.).

ужас, рассеявшись, не нагонит его больше, стоит лишь пальцем прикоснуться к ребеночку.

Не способный объяснить все это, он молот, что ему нужно на вокзал, что на любом вокзале хоть какой-нибудь поезд да увезет его прочь из этого кошмара, подальше, туда, к пруду с тихой, безобидной водой, у которого стоит домик, где живут его Павлинки.

Как ни странно, ночная сестричка все поняла. Ее ничуть не удивил его рассказ о гнездящихся на крыше, стучащих клювами аистах, кувшинках, прогретой воде, падающей с запруды, хотя за окном стоял январь, и ртуть термометра с каждым часом опускалась все ниже.

Медсестра сидела возле мечтавшего вслух Франтишека, держала его за руку, и ждала, когда его отрешенные глаза вернутся к действительности.

— Не могу я тут больше оставаться, — сказал он вдруг совершенно вразумительно, — все погибли, вся бригада. Или я поеду домой, или свихнусь.

— Сейчас я договорюсь, пожалуйста, не волнуйтесь.

Она в самом деле договорилась и... чуть было не започувствовала в госпиталь очередного пациента.

Вахтер в общежитии, не рассчитывавший на резкое изменение погоды, окончательно продрог и согревал себя теплом электропечки и спиртом. Когда к подъезду подкатила «Татра» директора, он выскочил на улицу, чтобы отдать честь, да так и остался стоять с разинутым ртом, с приросшей к фуражке рукой: из машины вылез знакомый ему жилец из вербованных в полосатой пижаме, с накинутым на спину одеялом. Овчарка гавкнула, ответив на приветствие (ребята долго ее дрессировали), но вахтер как воды в рот набрал, чувствуя только, что медленно превращается в сосульку.

А когда машина, наконец, увезла теперь уже по-человечески одетого пассажира с чемоданчиком в руках, он, качаясь, вернулся в тепло и, схватив бутылку, залпом осушил остатки.

Бывало на его веку, пьяные гуляки подкатывали в карете, запряженной белыми конями, но чтоб в директорской машине — нет, такого он не помнил.

Овчарка брезгливо отвернулась, она не выносила запаха спиртного.

Радость на шахте быстро улетучилась, на Офнере след обрывался, ничего, что облегчило бы поиски, сказать он не мог. Его куций рассказ, скорее, лишил горноспасателей последней надежды.

Комара нашли, заметив слабый свет забытой Пиццамусом лампы. По пути вниз, где каждая ступенька была адовой, блуждающих огоньков больше не приметили.

Адамчик вернулся в диспетчерскую, с досадой подумав, что пошла у него полоса неудач, вот и сегодня первое доброе известие принял Гавлик, а на его долю останутся одни мертвецы. Стараясь отделаться от нехорошего предчувствия, он полез за сигаретой. Пачка была пустой, диспетчер придвинул ему свою.

— Попробуем запустить клеть, пока вхолостую, — сказал Адамчик. — Машинист спустится через пять минут.

— Уже в третий раз!

— Знаю. И все-таки хочу, чтобы Герман присутствовал, он ведь там, как рыба в воде — на ощупь не промахнется. Машинное отделение проветрено.

Староват, конечно, для таких отчаянных номеров, но выбирать не приходится. К тому же Герман человек разумный и достаточно сознательный: почувствуй он слабость — отказался бы, а он — нет, ни слова не возразил, но почему-то это и угнетало больше всего.

Адамчик закурил сигарету. Которую по счету — представления не имел.

В минуты крайнего сосредоточения все мы забываем об усталости, о болезнях — они берут свое позже. Все наши грехи подсчитывает время.

Адамчикова принесла им кофе. Из одной чашки торчала ложка.

— Могу поспорить, мой — без кофеина, — это были его первые слова, обращенные к ней: видно, первый успех спасателей подбодрил его.

— Где же я тебе ночью достану без кофеина?

На самом деле она предусмотрительно принесла его с собой, но, кроме нее, никто не должен был об этом знать.

— Чем занимаются наши гости?

— Ждут.

— Дала бы ты им снотворного.

— А если они ждут последний раз, ты пойми, последняя ночь с живым мужем — не могу я вмешиваться.

Она неслышно вышла.

— Соедините с Германом, — приказал Адамчик, — Германа мне к телефону.

Горячая ложечка выпала из пальцев, он осторожно поднял ее и положил остывать рядом с чашкой. Вдохнул бодрящий кофейный аромат.

— Герман? Запусти вхолостую, понял? Рассчитай по секундам. Потом с людьми. Понемногу будешь припускать — пусть ищут, где-то ведь они должны быть.

— Понято, — по обыкновению выкрикнул Герман. — Помоги, Господи!

Протянув руку к чашке, Адамчик заметил, что невольнo сжимает большой палец на счастье. На губах промелькнула улыбка. Все, начиная с руководства и кончая диспетчерами, партийные и беспартийные поставили бы свечку, принесли бы в жертву ягненка любому святому, хоть языческому громовержцу Перуну или шахтерскому духу, наприбывали бы у порога подков, гонялись бы за трубочистами, на коленях под снегом искали бы клевер-четыrehлистник, если бы их убедили в том, что это поможет Стшалковой бригаде.

Но нет, не оставалось ничего другого, как качать наверх воду и партиями спускать людей в темную, мертвую шахту.

— До меня просто не доходит, — кипел Гавлик, — ведь могли сразу съехать на четвертый, как Йожин? Так нет же, остаются в самом пекле, да еще связь прерывают, это же надо, черт возьми, как так могло случиться?

С багровым от ярости лицом он ходил вокруг стола, старый Егер следил за ним с опаской, боясь, что Гавлик сметет на пол какую-нибудь из карт.

— Паника, — объяснил он лаконично.

— Паника? Какая, к черту, паника? Ведь были уже в безопасном месте, не дети же, ей-богу! Раз добрались до камеры, как Офнер рассказывает, куда их опять понесло? Сейчас бы уже все здесь сидели. Все до единого. А мы бы спокойно спасали шахту.

— Вероятно, им все представлялось по-другому, — вмешался Зайдлер, — одно дело, когда на все смотришь отсюда, и совсем другое — под землей.

Гавлик смерил старого директора сердитым взглядом. Тебе ли знать, как там, под землей; ты-то, небось, свои ручки сроду не замарал. Господин директор, недостижимое Его Величество! Он столкнулся с ним только раз в жизни, отступив с дороги в сторону. Гавлик пожалел, что по нынешним обстоятельствам нельзя было напомнить ему об этой встрече, происшедшей много лет назад, однако никакого злорадства по отношению к Зайдлеру, чье место теперь занимал, он не испытывал.

Хельга подала ему телефонную трубку.

— Вас, товарищ директор.

— Кто говорит? А-а, ты... — протянул он сердито. — Что? Да я и не волнуюсь, чего мне волноваться, не понимаю, ты зачем звонишь. Ну, если б не было работы, я бы тут не сидел. Вот именно. Только что? Это во втором-то часу ночи? Ну да, что ей не танцевать, если у ней платье за две тыщи. Приду, да приду же, как только освобожусь. Да. Пока.

Он бросил трубку.

— С танцуплек явилась, нет, вы видели? На балах танцует! Принцесса какая нашлась! — В голосе его прозвучало горькое недоумение: как сейчас можно заниматься такой ерундой да еще соваться с этим к нему; выражение детской обиды на округлом, заросшем лице было настолько неуместным, что, уткнув носы в карты, все захихикали.

— Что это вас разобрало? — набросился Гавлик на присутствующих.

— «Принцесса какая нашлась!» — передразнил его Кухта. — Тебя, видно, больше всего две тысячи за платье гложут.

— Да соплюшка ведь пятнадцатилетняя! Она, видите ли, два раза на бал в одном платье не может пойти!

— Правильно, пора тебе кубышку заводить, только учти — премии не видать, как собственных ушей. Разве что этот смертельный случай на себя возьму.

— Это ты брось! И так перебьются бабы! — Он не понимал, что смешного нашли они в его словах, жена и дочь со своими курсами балльных танцев действовали ему на нервы. Нет, пора, пора научить их считать деньги. Задело его и то, что Кухта упомянул о покойном Пёнтеке таким невозмутимым тоном.

Насулившись, он сел за стол.

Никто его не понимает: эти в карты уставились, разводят тары-бары о геологических пластах, дома — только и разговоров, что о тряпках. Будь у него хоть одна-единственная душа на свете! Если бы жена решилась на сына! Сын. Пусть хоть такой заморыш, как Йожин.

Тот подошел почти неслышно.

— Пробный пуск прошел без помех, теперь приедут с людьми.

Гавлик кивнул и посмотрел на парнишку с такой теплотой, что Йожин от неожиданности смутился.

«Вот с ним бы я нашел общий язык, — думал Гавлик, чувствуя, как огромная рука сжала сердце. — Взять да привести Йожина домой — так ведь дочка, фифа, эта, демонстративно не заметит, а то еще и на смех парня поднимет».

Он ужаснулся, поняв, как отделился от семьи, и тут же в голове мелькнула мысль, насколько забыл он собственное прошлое, свою рабочую юность, своих друзей.

Стремясь уйти от тяжкого раздумья, Гавлик распахнул окно и с наслаждением вдохнул резкий морозный воздух, сразу почувствовав облегчение.

— Следите за мной. — Егер переходил от карты к карте. — Вот здесь старая выработка заштрихована, а тут — она совсем низко, через десять лет — опять как раньше, значит, не перемеривали, просто так чертили, видите, здесь — опять ниже...

— Вы хотите сказать, что здесь значительный провал, по всей вероятности опустилась и старая выработка, но во время геологоразведки этого не заметили.

— И не могли заметить, она была завалена. Или заштриховывать не было надобности. Какая разница, здесь везде скала, вода сквозь нее не пройдет, она вот тут собирается.

— Стало быть, мы ей путь и проложили.

— О плывунах в вашей хронике нет упоминания?

— Ausgeschlossen*.

— В данных геологических условиях это совершенно исключается, — подтвердил инженер Зайдлер, — подземное озеро — это еще возможно, но наличие сероводорода подсказывает, что это — старая выработка. На повестке дня два вопроса: количество воды внизу и каким образом ее можно откачать.

— А временем мы располагаем?

— Боюсь, что нет. Ведь там люди.

Гавлик затворил окно. «На повестке дня» — говорит, как пишет. Все тебе на ведра пересчитает, а шахта того и гляди рухнет, ясно, как день.

Он подсел к остальным. Но ничего дельного в голову не приходило. Ни одна запруда такого напора не выдержит.

Старый инженер положил свою узкую руку поверх его лапы.

— Вы не бойтесь, предел ей есть, вода будет перестать течь, ручаюсь, будет перестать.

— Я понимаю, что перестанет, но что будет с людьми? Старик развел руками.

— Больше, чем делаете вы, сделать нельзя.

Хельга подняла трубку. Занервничала, несколько раз тихо переспросила. Побледнев, положила трубку.

* Исключено (нем).

— Из госпиталя звонят, инспектор Лишчар умер от инфаркта.

Один за другим они поднялись. Только Гавлик продолжал сидеть, закрыв лицо руками.

ХІХ

Заживо погребенные в шахте, они уже не слышали рокота воды, время остановилось. Поддерживая друг друга, каждый делал вид, что еще не все потеряно.

Зденек страдал от палящей жажды не меньше других, превозмочь ее удавалось с помощью все той же игры: как бы со стороны наблюдая за маленьким скорчившимся от страданий человечком. Погибнет он здесь — вознесут его в герои; два героя на одну семью — не многовато ли? Под силу ли такое маме?

Бедная мама с ее сказками о добре, побеждающем зло! Почему люди вообще рассказывают сказки? По доброте ли своей? Или бегут в мир фантазии, потому что жизнь в реальном мире невыносима?

Как удивительно и как бессмысленно порой складывается человеческая жизнь. Маленький кудрявый мальчик, с которым носится вся улица, весь парк, отличник, образцовый ребенок, приученный матерью раскланиваться на все стороны (лучше поздороваться два раза, чем ни одного!), одаренный художник, рисунки которого обошли все международные детские выставки — как круто повернула его путь какая-то маленькая куколка. Чумазая детская мордашка — размазавая кулачком слезы, плачет девочка, слова не в силах вымолвить, всхлипывая и показывая наверх, на крону дерева. Зацепившись за ветку, на каштане висит кукла в красном платице, с красными бантиками на льняных косицах, ребенок внизу рыдает от горя, от собственной беспомощности.

Лезть на такую высоту было страшно, но сочувствие подтолкнуло его; оказавшись наверху, только протянул руку за игрушкой, как увидел свадебную фотографию своих родителей, висящую над кроватью; он подтянулся на уroveň окна, и в собственном доме ему открылась картина совершенно неожиданная. Он крепче ухватился за ветку, чтобы не упасть. Ему было семнадцать, и, хотя в тайнства любви посвящен он не был, со слов приятелей знал уже обо всем. Задыхаясь от чувства гадливости, он был не в силах отвести глаза.

Дальше, дядя, немножко дальше, кричала снизу малышка, подставив подол на случай, если кукла упадет.

Его так и подмывало разжать руки, жаль, поднялся недостаточно высоко. Достав куклу, он по стволу съехал вниз. Ладони ободраны, в душе — полная пустота.

Спасибо, дядя.

Прижав к себе куклу, девочка сквозь непрсохшие слезы улынулась и убежала.

Где-то теперь этот заплаканный ребенок? Вспомнит ли он когда-нибудь доброго дядю, который теперь тихо подышает — а все из-за куклы с красными бантиками. Неисповедимо переплетаются иногда человеческие судьбы.

В тот день он впервые напился, заливал в себя водку, его рвало, становилось еще хуже, он снова пил, пока сознание, наконец, не отделилось от него; домой он ковылял через лес расщепившихся до бесконечности фонарных столбов, пытаясь уклониться от одного, налетал на другой; потом долго ковырял ключом в замке, пока мать не встала и не открыла ему.

Он прокричал ей в лицо весь мальчишеский набор оскорблений, прямо в ботинках забрался на кровать и, сдернув свадебную фотографию, стал топтать ее ногами, трещало дерево, стекло, потом в клочки рвал отцовские фотографии, срывая их со стены, со столика, выдирая из альбома, и швырял обрывки в белое лицо матери.

Зденечек, что ты, Зденечек, повторяла она без конца, глядя на него широко открытыми глазами.

Он бушевал еще долго, к счастью для себя, быстро забыв, чего ей наговорил. Бедная мама, надо было съездить ему разок по физиономии, но она чувствовала себя перед ним виноватой, тем самым удваивая его ненависть. Он заливал ее по кабакам — топил или распалаял — сегодня уже не помнилось.

За старые заслуги аттестат ему выдали с отличием, но теперь его больше тянуло к собутыльникам, нежели на институтские лекции, — мать расплачивалась за свою несуществующую вину.

Она давала мне деньги за то, что не позволила связать себя по рукам и ногам, сожрать с потрохами, не пожертвовала ради меня всей своей жизнью без остатка.

Ее вина, только ее. Он усмехнулся сам себе: нет, видно, не подошло еще то время, когда заглохнет в нем, наконец, враждебность глубоко уязвленного человека, даже в эти минуты не мог он признать права матери на собственную жизнь.

Будь у него при себе листок бумаги, он сумел бы черкнуть ей пару добрых слов, произнести которые не решился бы никогда.

Наверное, есть во мне какой-то изъян. Девушки хорошей я не встретил, днем и ночью — не живу, существую, живопись опротивела — все краски оказались предательски изменчивыми.

Написать бы эту темень, едва брезжащую розоватым светом, и назвать картину «Надежда», «Надежда на жизнь»... «Надежда выжить»...

Он вздрогнул. Поздно.

Каждый был погружен в свои мысли, усталость притупила внимание. Труднее всех приходилось Пицмаусу с его потребностью в постоянном движении, словно сидела в нем с силой сжатая пружина, которая вот-вот резко распрямится. Вся жизнь его была бегством, беспорядочным лавированием между препятствиями, врезаюсь в одно, он, отшатнувшись, тут же влетал в другое, поэтому, не способный справиться с первыми же неудачами, выстоять спор, преодолеть трудности, он то и дело менял профессии. Теперь, обреченный на темноту, он тем более не чувствовал доверия к людям, убежденный, что наверху их уже просто списали, бросив на произвол судьбы, на растерзание воде.

В нем поднимался, разбухая, протест, крик вдруг прорвался сквозь сжатые губы, гонимый безудержным страхом, он сдернул маску и, швырнув ее в темноту, сам бросился следом.

Невыятный выкрик всех поднял на ноги, первым вскопчил Стшалка, не успев схватить отчаявшегося Пицмауса, он, забыв об опасности, высвободил рот, чтобы крикнуть ему вдогонку:

— Пицмаус! Кышмышка! Назад! — и вспомнив в момент сосредоточения его имя, впервые назвал его по-человечески: — Енда! Еник! Назад! Вернись!

У ламп Стшалка остановился, дальше кипела вода, в которой бесследно исчез Пицмаус. И, словно призрак, по стволу поднималась освещенная клеть.

Он бешено закрутил ручкой телефона.

В ответ раздался гудок. Герман. Трубку взял машинист подъема Герман. Стшалке показалось, что это сон, настолько все было невероятно. На всякий случай он подал голос.

— Говорит Стшалка. Мы во второй нише.

— Ярек, там газа нет?

— Мы в самоспасателях.

— Не говори больше ничего, слышишь? Надень маску и слушай. Сигнализация не работает, но я приноруюсь. Продержитесь еще чуть-чуть! Только молчи, слышишь, положи трубку и перезвони — я буду знать, что ты понял. Спускаю клеть на двор. Положи трубку и перезвони!

Обыкновенно машинист кричал, но сейчас он просто надрывался, его слышали все стоявшие вокруг Стшалки, но только Яреку вдруг показалось, что искаженный звук голоса перешел в бессмысленный гул, в голове вспыхнул ослепительный огонь, желтизна затопляла ровное, незнакомое ему поле, он попытался заглянуть за горизонт, ему казалось, там он увидит своего ребенка, он высматривал его на залитом светом песке, вдруг откуда ни возьмись выпорхнула ласточка, приближаясь, она поглощала отвратительный свет, пока не обратила его весь в черный бархат и, долетев, наконец, до Стшалки, осенила его нежным крылом. Он упал, сжав в руке трубку.

Его подняли.

Выметал положил трубку и покрутил ручку.

— Порядок! — донесся голос Германа. — Ждите, что б вас!

Михал и Роглена, не найдя места, куда положить Стшалку, держали его на руках. Зденек пробовал вызвать у него признаки жизни, вспоминая все, что отложилось в памяти с пионерских лет; теперь уже усвоив, что в ногах концентрация газа особенно высока, он подал знак поднять Ярека как можно выше. Освободив рот, пытался вдохнуть в него хоть немного живой силы — той, что у самого была на исходе.

Счет в жизни Германа шел теперь на секунды, утомление перешло в состояние странного возбуждения. Всеобщей любовью. Знать, и впрямь настала решительная минута, если любовь эта распространилась даже на греховодника Леготу — вероятно, в глубине души Герман считал, что прикосновение ангела смерти заставит того раскаться. Но он ошибался: Легота был из тех, кто даже на смертном одре вспоминает женские ласки.

Легота уже трижды спускался вниз, окончательно утратив легендарный облик. Аромат выветрился, вытесненный запахом, которого он сам не выносил.

Ворвавшись в кабинет начальника шахты, он прямо в мокрой спецовке плюхнулся в кресло.

— Живы они, что б их, живы! Нет у тебя коньяка?

— Что?

— Коньяка немного. Живы они, сейчас их на четвертый спускают. Врача туда послали, еще и он их наверняка задержит.

Хельга налила ему почти полную рюмку «Наполеона». Он наградил секретаршу улыбкой — и ее утомленное, уже немолодое лицо посветлело, разгладилось.

Члены комиссии повскакивали со своих мест. Упустив момент, не двинулись только оба старика.

— Вы из министерства? — спросил Легота.

Егер смерил его взглядом из-под очков.

— Нет, мы — с пенсии.

— Даже с пенсии? А я пока в поте лица ее зарабатываю.

Зайдлер только невесело усмехнулся. «С пенсии», — подумал он с тоской, как с того света. Не будучи наивным, понимая, что не все гладко бывает на шахте, он завидовал этим людям во всем, вплоть до их раздоров и неурядиц, завидовал даже тому, что произошла вот эта авария, сплотившая их. В свое время ни один из его подчиненных не посмел бы вот так развалиться перед ним в кресле, да еще потребовать коньяку. Просто возмутительно. Одновременно Зайдлер был уязвлен, что никогда не познал такого доверия, такой человеческой близости с ними.

Подняв рюмку, Легота пригубил ее. И только потом вдохнул приятный аромат коньяка.

— Одного понять не могу, как это вдруг телефон заработал. Кабели отсырели напрочь, уж мы и так и сяк пытались связь восстановить, и все зря. А тут — на тебе, вдруг они на проводе.

— Э-э, и техника имеет свои Laune*, — заметил Егер, — у провода своя, особая жизнь, как у нас.

Хельга расставила рюмки. Наливала на доньшко — каждый знаком останавливал ее. Они выпили за живых.

Фикейс в это время успокаивал Рогленову — та звонила что ни час. Он умоляюще переводил взгляд с Милушки на Веру и обратно, но ни у той, ни у другой не было никакой охоты вставать и идти ему на подмогу.

Поскольку телефон все время был занят, сообщить радостную весть выпало на долю Йожина, который объявил сквозь счастливые слезы:

— Их нашли! Даже говорили с ними. Герман, наш машинист. Скоро поднимут.

Вера, обняв, чмокнула его. Йожин залился краской.

— А где они сейчас?

Ничего не видя перед собой, она бросилась в коридор, но, опомнившись, вернулась за Милушкой.

— Нашли их, ну да, нашли, больше ничего не знаю, — попытался втолковать Фикейс Рогленше, рыдания которой прямо в трубку с трудом выдерживало ухо, — сейчас я пойду узнаю и сразу вам перезвоню. Я ему все передам, да, обязательно.

Рогленова, облегченно вздохнув, доставала тарелки из холодильника. Слезы в соус капали чаще, чем над теркой с хреном во время его приготовления. Освободившееся в холодильнике место она плотно забила бутылками с пивом, а те, что уже не входили, выставила на балкон, в радостном возбуждении не заметив, как низко опустился столбик термометра. Долго потом не мог ей забыть Роглена разорвавшихся на морозе бутылок, до чего мозги у баб все-таки жидкие, было б пльзенское — ничего бы ему не сделалось, а эта опять дряни накупила, нет, ей-богу, мозги у баб хуже куриных. Рогленша не обижалась — его ворчанье было неотъемлемой частью ее маленького счастья.

Почти на пороге медпункта Веру с Милушкой вдруг остановил пронзительный вой «Скорой помощи». Стшалку и Зденека Коубу везли в реанимацию. Их подняли на-гора первыми, остальных, сменив им самоспасатели, оставили ждать.

Резкий звук удалялся, пока не затих совсем. Но радости как ни бывало, осталась только тревога.

— Кого это повезли? — спросила Вера. — С ними что-нибудь случилось?

Адамчикова обняла за плечи Милушку.

— Ваш муж газа наглотался, не волнуйтесь, ему дали кислород и два врача при нем.

Милушка высвободилась из объятий. Во взгляде ее сквозила враждебность.

— Почему они меня не взяли? Я хотела быть рядом с ним.

— Времени не было разбираться. Поедете с остальными, на осмотр всех обязательно повезут.

— Но я хотела с ним.

— Уедете со следующей машиной. Вы пока присядьте.

Вера хотела было проводить ее до стула, но Милушка увернулась, не позволив больше к себе прикоснуться.

— Я же хотела с ним, — твердила она обиженно.

Она прислонилась спиной к стене, оскорбленная, злая, убежденная, что все собрались здесь только затем, чтобы

* Причуды, капризы (нем.).

нарочно причинить ей боль, помешать быть рядом с мужем.

— Идут! — услышала Вера, и все вокруг перестало существовать.

Она не знала, с какой стороны они появятся, но, инстинктивно определив направление, ракетой вылетела навстречу Михалу, бросилась ему на грудь с такой силой, что он оступись, повисла у него на шее, прижалась губами наугад, куда смогла дотянуться. Но он, этот пень бесчувственный, только сощурился от резкого света и хрипло выдал из себя:

— Мать твою, глотнуть дай чего-нибудь...

Не довольствовавшись поцелуями, он обеими руками потянулся за бутылкой с молоком. Адамчикова заказала их в магазине еще до открытия.

— А пива нет? — Роглена с отвращением отвел рукой бутылку с белой жидкостью. — Знаете, куда идите со своим молоком? Да хоть бы из вашей сиськи — мне его и даром не надо.

Бестактный тон больно задел Адамчикову, обделенную радостью материнства, грудь ее так никогда и не налилась. Но не подав виду, она улыбнулась.

— Пиво только после медицинского осмотра, — отрезала она энергично, — а молоко — хорошее противоядие, сейчас это именно то, что вам нужно.

Вера, чуть откинув голову, со стороны наблюдала за Михалом: присосавшись к бутылке, он в блаженстве пил молоко, белые струйки бежали по его груди. Вера засветилась, ее улыбку заливали счастливые слезы.

Гавлик глаз от нее не мог оторвать — перед ним словно раскрылся чистый родник, на дне которого играло солнце; поймав на себе недоуменный взгляд Адамчиковой, он смущенно опустил глаза.

Когда машины с шахтерами уехали, комиссия вернулась к своей работе, а он задержался в медпункте. Женщина в белом халате излучала усталый покой — казалось, она постигла все тайны мира. Уловив его молчаливое сочувствие, она повернулась к нему с улыбкой профессионального врача.

— Как она на него смотрела! Хороша ведь, а?

— Видите ли, доктор, перед таким взглядом мы, мужчины, совершенно безоружны, это даже не любовь, нет, это всего лишь страх, что жизнь протекла между пальцами, что нужно остановить ее, ухватить хоть крупинку. — Его большие руки словно набирали воду, сложив ладони ло-

дочкой, он, похоже, пытался задержать в них промытое золото.

Неуклюжая попытка подбодрить ее тронула Адамчикову, этим он заслужил право на ее искренность — профессиональная улыбка погасла.

— У меня в жизни есть только одно — работа, ничего, кроме работы мне не остается.

— Понимаю, и у меня так же. Но ведь как хочется иногда на все... Как, по-вашему, состояние двух первых?

Адамчикова прикинула, насколько можно его не щадить.

— Худо, — ответила она напрямик, — но надежда есть.

XX

Приближалось утро. Ночной мрак смешался с дымом и копотью в густую, непроглядную тьму, мороз крепчал.

Горноспасатели обнаружили труп Пицмауса, Для него борьба с препятствиями закончилась. В кармане остались два размокших кусочка хлеба с тонюсенькой пластинкой сала.

Из проходной выехала машина с членами комиссии по оказанию помощи семьям погибших. Им предстоял долгий путь. Работало отопление, но ноги у всех зябли.

С неба так и сыпалась снежная пыль, искрилась в лучах фар, оседала на окна. «Дворники» то и дело застывали под тяжестью наледи. Шофер останавливался, выбирался на мороз и, пританцовывая, отковыривал с них лед.

Разговаривать никому не хотелось.

— Хороша будет поездочка, — нарушил молчание водитель, — славно время проведем.

— Будем надеяться, к рассвету разгуляется.

— Хоть бы мразь эта перестала падать. Я уж молчу, что будет, когда до Высочкины доберемся. Просто пальчики оближешь.

— Скорее бы уж.

— Нет, не завидую я вам. Такую новость привезти! Вздрепните, что ли, для бодрости духа.

— А ты не заключаешь, если мы всхрипнем?

— Уж будьте покойны.

Но ни Капрас, ни Буржил так и не уснули, до того коченели ноги. Они знали, что впереди еще масса времени, и старались думать о чем-нибудь другом, но мысль о предстоящем неотступно мучила обоих.

— Ты его знал, Пицмауса-то этого?
— Нет, он с осени подрядился. Дом строил, вот и потянулся на заработок.

— Детей у него, говорят, двое?

— Дочки, подростки уже.

— А жена его как, не слыхал, а? Не истеричка? Вдруг ее дома не застанем. Придется еще на работе разыскивать.

— Спросим, покажут.

— Да погодите вы, нам еще ехать и ехать,— пробурчал шофер и снова вышел, чтобы очистить «дворники».

Оба, разувшись, закутали ноги шарфами. Буржил, вытянув ноги на спинку переднего сиденья, устроился с комфортом, Капрас поджал их под себя.

Когда выехали на равнину в районе Оломоуца, они уснули. Водитель, не отрываясь, глядел в редющую тьму. Чтобы и в самом деле не задремать, он напевал себе под нос:

— Ох, жена моя, жена, вся округа ей довольна, окромя меня...

Самому стало неловко — непристойная частушка была явно не к месту. Но на память, как назло, лезла всякая похабщина. В зеркале отразилось розоватое зарево восхода. Снежная пыль утихомирилась где-то наверху. Дорога превратилась в каток.

Ленка Пицмаусова, продрогнув до костей в утреннем автобусе, потихоньку оттаивала у конвейера. Ни о чем не думая, закручивала два положенных ей винтика и отправляла деталь дальше. Одна мысль все-таки мелькнула — не замерзла ли дома вода? Надо было отключить.

Зденек Коуба, по прозвищу Падись, лежал в боксе реанимационного отделения. Дыхание полностью восстановилось, но вся аппаратура была по-прежнему включена, над головой писались зубцы кардиограммы.

Он боялся пошевелинуться — вена была подсоединена к капельнице. Тяжело болеть ему никогда еще не доводилось, все здесь его угнетало, правда, он не без удовольствия из-под ресниц наблюдал за сестрой. Она оставила незадернутой занавеску, разделявшую два бокса, и он следил, как ловко перестилает она постель. Молниеносно — чтобы не коснуться испражнений — свернула грязную простынь, тут же сунув ее в мешок. У нее были тугие красные щеки, а на ногах — толстые белые чулки.

Вошла вторая сестра без фартука. Застиранный голубой халатик был короток и явно тесноват. Смахивала она

в нем на девочку, которая неожиданно выросла и округлилась.

Они о чем-то пошептались, украдкой поглядывая на Зденека. Это его встревожило.

— Эй, сестрички!

Подошла та, молоденькая, вторая вынесла белье.

— Вам что-нибудь нужно?

— Как мои делишки?

— Прекрасно. Клянусь. После обхода, наверное, переведем вас в обычную палату. И еще...

— Что, что еще? Вы о чем там шушукались?

— Да все рвется к вам какой-то медведь, что ли. А у нас посещения запрещены.

— Но если одна постережет...

Она рассмеялась, ни на минуту не упуская из внимания соседние боксы.

Вернулась та, постарше.

— Ты что, ему сказала?

— Нет.

— Что вы должны были мне сказать?

— Ничего. То есть, ничего страшного, случаются и похуже вещи, вот ведь и вы чудом выжили...

Наклонившись, она сочувственно погладила его по голове. Халат вот-вот готов был треснуть. Проснувшийся мужской инстинкт обрадовал его. Недомолвки сестры вызвали в нем опасения, что он тем или иным образом лишился своей мужской силы. Теперь он знал, что все в порядке. Правда, момент был не подходящий.

— А вам даже идет, у вас вид такой импозантный.

— Вы о чем?

— Не пугайтесь, вы малость поседел.

Он машинально провел ладонью по волосам.

— Что вы говорите? То-то мать глаза вытарачит. У вас нет зеркальца?

Он посмотрел на себя. Зубцы над его головой участились, сестра внимательно следила за их изменениями.

— Ну вот, здравствуйте вам пожалуйста! Как вы считаете, может, подсинить по моде?

— О, вы будете неотразимы. Пущу-ка я, пожалуй, этого вашего медведя. Но только на одну минутку.

Михал был готов ко всему, и все-таки слова не шли с языка — до того жалким показался ему Зденек. Золотистые кудри подернулись сединой, лицо осунулось, посерьезнело.

— Что с остальными?

— Роглену и Выметала отправили домой. Вообще-то меня тоже отпустили, но я хотел с тобой повидаться.

— А Стшалка?

— Еще в операционной. Ждем вместе с Милушкой.

— Пицмаус?

— Сам понимаешь, ему уже ничем нельзя было помочь.

И давай договоримся — о подробностях не распространяться, понял?

— Вам пора, а то вы меня подведете, — вмешалась сестра.

Зденек схватил его за руку.

— Послушай, сходи, погляди, как там Пайташ, да нет, я в своем уме, Пайташ — это собака Пёнтека, он ведь один жил, я ему пообещал, что Пайташа не брошу.

— Не волнуйся, будет сделано.

Михалу казалось, что его собственное лицо, уставшее от маски бодрячка, сковала судорога. Подойдя к двери, он уже не смог оглянуться. Хотелось выплакаться и заснуть. Забраться куда-нибудь подальше и отключиться.

В коридоре сидели Вера с Милушкой.

— Ну как там?

— Зденда в порядке. Никогда бы не сказал, что он такой отчаянный. Но заметно присмирел.

— А Ярек? Ярека видел?

— Нет, не пустили. Наберись терпения, Милуш, и так делают все возможное.

— Но я хочу его видеть.

— Сейчас нельзя.

Он знал, что чуда не произошло, в операционной Стшалке вскрыли грудную клетку и попытались сделать прямой массаж сердца. Представлявшаяся его глазам картина была настолько страшной, что он не решился сказать им правду.

Михал сидел между ними, ближе к Милушке. Вера чуть отстранилась от него, отпустив его руку, оба они заметили, что Милушка, перехватывая взгляды, болезненно ловит в их глазах взаимную тягу. Как хотелось им обняться, прижаться друг к другу, но оба сдерживались — это было единственное, что они могли для нее сделать.

Из операционной вышел врач. Михал поднялся, но сразу понял, что вопросы излишни.

— Четверо, — сокрушенно повторял Гавлик, получив сведения из госпиталя, — четверо, значит.

— Инспектор не в счет, так что трое, — поправил его Кухта. — Для такой аварии еще хорошо обошлось.

«Хорошо обошлось, — с горечью подумал Гавлик, — нечего сказать, лучше просто некуда! Господи, хоть бы меня кондрашкахватила, что ли, ведь главная нервотрепка еще впереди».

— Самое ужасное в том, что все могли спастись. Дважды.

И так думал каждый из сидевших за столом, чего проще — элементарное соблюдение инструкции, а если бы людям вообще было свойственно хладнокровно принимать решения в крайних ситуациях, тогда удалось бы избежать не одной катастрофы.

— И бригадир у них был отличный.

А вот это была ложь. Мягкосердечный, нерешительный Стшалка под нажимом всегда тушевался. Руководство это устраивало: легче иметь дело с тем, кто, поддакивая, не вступает в пререкания, всегда готовый нажать указанную кнопку. Но лишь до той поры, пока не возникнут непредвиденные обстоятельства. А их почти всегда хоть отбавляй.

— Приток воды слабеет, — оповещал неугомонный Йожин, — кажется, вся вышла.

— Richtig, правильно, я же говорил, что она будет перестать, — оживился Егер.

У всех от сердца отлегло — худшее было позади, дальше все было проще, но главное — пришел конец мучительным сомнениям.

Заглянув в сияющие глаза Йожина, Гавлик с удивлением поймал себя на том, что облегчения не чувствует. Радость обошла его — слишком тяжким было бремя утрат. С трудом поднявшись, он молча направился в диспетчерскую к Адамчику.

К проходной уже тянулась утренняя смена. Ее отправляли обратно, на шахте все еще командовали горноспасатели. У отстойников замерзала поднимаемая снизу вода.

— Пора передохнуть, пожалуй, — предложил Гавлик, — а то я уже с ног валюсь.

— Сейчас начнется обстрел звонками сверху.

— Положим, они там сначала кофейку выпьют, газеты просмотрят. Когда начнем добычу?

Главный инженер Адамчик отвернулся с ироничной усмешкой — до того комична была сейчас решимость на лице Гавлика.

— Вам как — в часах доложить или в минутах?

— В секундах,— проворчал Гавлик,— тоже мне, юморист!

— Самое ужасное, что я даже сердиться на вас толком не способен, когда-нибудь это мне дорого обойдется.

Директор решительно направился к двери и врезался прямо в косяк. Главный снова усмеялся. Была в Гавлике черта, которая совершенно обезоруживала. Адамчик осознавал это и напрасно противился растущему расположению к нему: в конечном счете, Гавлик всегда подкупал его своей искренностью, играть на публику было ни к чему — шахта действительно была всей его жизнью.

Гости уже одевались. Они отправлялись на одной машине с Хельгой, державшейся из последних сил.

— Рад бы вам помочь еще чем-нибудь,— прощался Зайдлер,— но в моей практике ничего подобного не встречалось. Однако мне кажется, все кончилось не так уж плохо.

— Если бы не жертвы...

— Да, это прискорбно.

Они пожали друг другу руки.

Участливость Зайдлера показалась Гавлику неискренней — сроду не верил он гладким речам.

— А я ведь вас, знаете, с каких времен помню — я на этой шахте четырнадцатилетним мальчишкой начинал. Тогда директор шахты для нас был больше, чем сам Господь Бог.

Зайдлер pokrutil головой.

— Это вам только казалось. Я был таким же хозяином, как вы сейчас, только с меня кроны требовали, с вас — тонны; я голову ломал, как от лишних рук избавиться, вы — где их найти, времена меняются.

— Да, к счастью.

— И все-таки хочу дать вам совет, разумеется, коль не обидитесь: не выбрасывайте лимон, прежде чем не выжмете его до последней капли.

Эта мысль давно приходила в голову и самому Гавлику, но сейчас он особенно хорошо понял, насколько же он неотесан, вспылчив и взбалмошен по сравнению с Зайдлером, сколько энергии уходит впустую, когда за всем он пытается уследить один, как много времени теряется напрасно: образование — и то получал урывками, заглатывая знания, как горячую картошку, переваривая их зачастую без всякой пользы.

— Спасибо за совет и за помощь. Мне даже неловко, что мы так долго вас задержали.

— Я был этому рад.

Гавлик протянул руку инженеру Егору. С этим он чувствовал себя свободнее. Да и с мальчишеских лет его не помнил.

— Пришлю к вам нашу молодежь, если не возражаете.

— Не возражаю,— с искоркой в глазах ответил старик,— и сами приезжайте, я вам буду показать свои коллекции.

— Боюсь, в ближайшие дни времени не выкрою.

«И не только в ближайшие,— подумал он с горечью,— разве когда на пенсию выйду, если доживу, конечно».

Уставший водитель осторожно вел машину по дороге, покрытой корочкой льда, с утра еще не посыпанной песком. Последним пассажиром оказался Зайдлер.

Дорога была не слишком веселой, но ему хотелось, чтобы она не кончалась. Окунувшись в гущу событий, он вспоминал свой дом, как нечто совершенно невыносимое. Да и какой это был дом — могильный склеп, выбранный и оплаченный вперед двумя обреченными на смерть стариками. Но оставить больную жену не позволяла совесть, да и сил уже не было, так и жить им теперь, ненавидя друг друга, до конца дней своих.

Он вышел из машины. Деревья были запорошены серебром. В одном окне горел свет.

XXI

С низкого, гнетущего неба, затянутого огромной черной тучей, сыпались крупные белые хлопья. Открывшись невесомым, неуместно веселым хороводом, они плавно ложились на черные пальто, черные шляпы с вуалью, черные платки, оседали на окна блестящих, черных «Татр».

Колкий мороз заставлял притопывать ногами, но заходить в крематорий никому не хотелось. Как будто это могло отдалить минуту прощания.

Вера куталась в белый меховой воротник, накануне собралась его отпороть, да руки так и не дошли. Она прижалась к колючему рукаву Михала, но, увидев Милушку, строго выпрямилась, чтобы счастье не бросалось в глаза.

На Милушке, окруженной родственниками, было новое черное пальто, широковатое в плечах, туго обтянувшее живот. Она стояла с высоко поднятой головой, неприступная, с выражением обиды на лице. Вера коротко обняла ее и принялась теплой ладонью растирать ее ледяные щеки.

— Обморозишься, Милушка! Зайди внутрь.

Милушка окинула подругу далеким, враждебным взглядом.

— Я так боюсь за нее,— шептала Вера мать Милушки,— пусть бы хоть выплакалась, так ведь ни слезинки не проронит. Вся в себя ушла. А раньше-то какие вы были веселые девахи.

Она разрыдалась. У Веры комок подкатил к горлу.

Михал всем пожал руки. На его темные волосы тихо падали редкие хлопья. Вера устыдилась не ко времени нахлынувшему ощущению счастья, слезы полились ручьем, и она долго шарила в сумочке в поисках платка.

С подростком в шахтерской форме подошел Выметал. Следом семенила жена. Черный платочек был низко надвинут на лоб, из глаз так и бежали слезы. Поздоровавшись со всеми подряд за руку, она отступила к детям.

— Комар,— удивился Михал,— глядите, Комар вернулся.

Они подались ему навстречу. Комар нехотя улыбнулся. На морозе его налитые щеки стали совсем пунцовыми, но выражение глуповатого блаженства с лица исчезло. Васильковые глаза постарели от пережитого.

— Ты на похороны приехал?

— Да нет, я насовсем.— Покосившись на Веру, тихо добавил:— Прав он был, гаденыш такой. Некуда мне больше идти.

— Быть такого не может,— улыбнулся ему Михал,— могу поспорить, из общежития ты не выписывался.

Комар не ответил. Это все никому не нужная спешка. Тогда, на вокзале, он вскочил в первый же поезд по направлению к дому, но на пересадку все равно опоздал. Продрогший, усталый, голодный, он добрался домой, когда уже совсем стемнело.

Хватило одного недолгого взгляда, чтобы понять: зря торопился. Павлинка тихо ойкнула и прижалась к его брату, в ее глазах он прочел страх и отвращение.

Отвернувшись, Комар подошел к малышке и прикоснулся к ней пальцем. Вышел на пруд, скованный льдом. Небо было затянуто, и он нигде не мог разглядеть проруби. Спустившись на лед, побрел наугад. Ледяной ветер гнал его по катку, несколько раз он упал, но ни одной проруби так и не попалось.

Вдруг под ногой хрустнула тонкая корочка, инстинктивно отпрянув, он на мгновение увидел перед собой счастливые лица спасателей, радость ждавших наверху (большин-

ство он видел впервые) и понуро побрел к берегу. Ох, и досадил бы я им, дурак, ох, и досадил бы!

И направился к вокзалу.

— Да я уже устроился на старом месте,— подтвердил Комар,— а вот гаденыша так и не нашел. Говорят, он выжил, выжил все-таки, паразит такой.

— Только вот чокнулся малость. Перебрался в Пёнтекову хибару, за собакой его смотрит, кроликов кормит.

— Это Зденек-то?

— Вот именно. Да вон он сам, вы уж над ним не ехидничайте.

Вера знала о происшедшей со Зденеком перемене, но скрыть удивление было трудно. На его коротко остриженную голову была натянута уродливая шерстяная шапочка, без кудрей лицо казалось более узким, осунувшимся, но и более волевым.

— А я ведь тебя искал,— первым обратился к нему Комар,— подлая твоя душа.

— Как же, искал! А мне доложили — собрал вещички — и тю-тю! А на друга плевать.

— Да я ведь думал, вас и в живых-то нет.

— А мы тебя уже было похоронили.

Комара передернуло. Как мало оставалось до того, чтобы слова Зденека оказались правдой! Но теперь он вспоминал отчаявшегося бродягу, отыскивающего прорубь, словно все это происходило вовсе не с ним. Уплыли в бесконечность и обе Павлинки.

— Долго жить будем — примета такая,— изрек Выметал, как будто каждое слово давалось ему с трудом. Насупившись, он отошел к семье.

Выметало утешала вдову Пицмауса. Уставшие в дальней дороге, с распухшими от слез лицами, девчонки в испуге прижимались к матери. Из черных пальто и шляпок выглядывали только их красные носы. До того некрасивые и жалкие были они в своем горе, что одним только видом причиняли всем невыносимую боль.

— Ведь такой был умелец,— причитала вдова,— все он знал, все умел, за что ни брался — все под руками спорилось, а семьянин был какой — все в дом, все для детей, какой был человек...

Михал кивал головой, поддакивая вполне искренне — в памяти осталось лишь вечное усердие Пицмауса, и он уже забыл, как это бессмысленное рвение настраивало против него всю бригаду. Впрочем, так ли это было...

— Он до последней минуты о семье думал, все волно-

вался, что дом надо достроить, вас вспоминал, девочек, да, Зденек?

— Да-да, так он тепло о вас говорил, с такой нежностью, он вас очень любил.

— Какой был человек, мизинца мы его не стоили,— зарыдав, вдова бросилась на шею Выметаловой. Девочки в растерянности взяли за руки.

Улыбнувшись им, Зденек понял, что они не узнали в нем своего новогоднего кавалера. Это нисколько его не задело. Он думал о том, как все-таки правильно устроен мир: у каждого в жизни есть кто-нибудь для святых воспоминаний, пусть даже просто мама.

Только теперь он заметил, что у входа в крематорий плотной черной стеной стоят многочисленные родственники Пёнтека. Видя их впервые, он сразу догадался, кого они пришли проводить, захотелось скрыться в толпе, удрать. Уловив этот порыв, Михал крепко взял его за локоть, дал опомниться. Значит, ему все известно, значит, тайны больше не существует, подумал Зденек, почему-то почувствовав облегчение.

Пухленькая сноха Пёнтека протягивала всем обе руки.

— Мое искреннее сочувствие,— произнес Михал, остальные пожимали руки молча.

— Перчатки снять даже неудобно, вчера платки красила, он нам платки на все праздники дарил, все таких диких расцветок, мы ворчали на него да ворчали, уговаривали плюнуть и на работу эту, и на кроликов, ведь он и у нас мог жить, и со старшим сыном, золовка — дочь-то его — тоже к себе звала, вчера ночью она мальчишку родила — старик все ждал, чтоб отпраздновать честь по чести — де-сятый ведь внук, юбилейный.

Она залилась слезами, белые хлопья все гуще покрывали связанные из шерсти ангорских кроликов, выкрашенные на скорую руку платки.

Да что б он когда сам их резал, тараторила соседка Пёнтека Михалу, пришедшему в опустевший двор, этим всегда мне приходилось заниматься, ну, а уж в рот крольчатину тем более не брал — хоть с чесноком туши, хоть в сметане, чудак был человек, дети его к себе звали, и я ему намекала, говорю, за свет да за отопление вдвоем вполвину бы меньше платили, так нет же, ни разу меня к себе не впустил, и прибирался сам, только шерсть, когда пряжу уже получал, заносил мне, а я ему платки вязала, на подарки, сколько раз ему говорила — может, вы бы им что другое подарили, а он — что другое-то, они вон тоже ниче-

го нового не придумают, знай тащат мне табак да тапочки домашние, я как в ящик сыграю — увидят люди, что в комнате у меня — не то киоск табачный, не то сапожная мастерская. Собака? Точно, выла, я еще думала, смена у него ночная, а за Пайташа не волнуйтесь, я ему и еды дала, и воды поставила, только он все равно ничего не ест-не пьет, к себе звала — не идет, все ждет да ждет.

Среди родственников Михал заметил соседку Пёнтека. Узнал ее не сразу — пока сама не кивнула.

Люди зашевелились — первыми прощаться с покойными заходили в крематорий родственники. За ними проследовал духовой оркестр с шахты.

Из машины вышла семья инспектора Лишчара: одетая во все черное вдова и две девочки в черно-белых кроличьих шубках.

Легкомысленный вихрь снежинок напрасно старался припорошить горе. Оно проглядывало отовсюду черным цветом.

— Ужас какой, Верушка! — Рогленова бросилась на Веру и влажно чмокнула ее в щеку, не забыв стереть пальцем след помады.— Я прямо сон потеряла, никакие сновторные не берут. Вот так лежал бы сейчас в гробу Руда, я бы убилась.

Рогленша увлекла ее в сторону, и рядом с Михалом стоял теперь Йожин в горняцкой форме, брюки доходили ему до лодыжек, а на одной ноге был надет огромный клетчатый тапочек.

В разгаре спасательных работ Йожин совсем забыл о своем больном пальце и — теперь его ждала больница. Дергающей боли больше не было, на морозе палец ныл, но это было терпимо, он прихрамывал, ловя на себе сочувствующие взгляды. Внимание льстило ему, в собственных глазах он выглядел раненым бойцом. Представив себе, что кто-нибудь наступит ему на ногу, Йожин содрогнулся, рядом с Михалом ему было как-то спокойней. Сбоку к ним пристроился кряжистый Роглена, в ложбинке его черной шляпы белела полоска снега, он мял мочки ушей, кланя жену последними словами. Сейчас бы натянуть шапку на лоб, как Падись, везет неженатым; их никто не заставит нахлобучивать в трескучий мороз воронье гнездо.

Вид у них был немного растерянный, словно каждый чувствовал себя виноватым перед родственниками погибших. Сбившись вокруг Михала, они поглядывали на него с надеждой, словно ожидая услышать решительное, облег-

чающее слово. Окруженный товарищами, рослый, серьезный, он поверх их голов глядел на Веру как бы извиняясь, глаза из-под длинных ресниц лучились участием и теплом.

— Я же не виновата, Верушка, самой прямо стыдно, но ведь счастливая-то я какая, наверное, гадина я, да?

Вера старалась уклониться от шепота Выметалихи, ее задело, что эта невозможная тетка испытывает в точности те же чувства, что и она сама, но слезы смягчили раздражение, придав опухшему лицу Веры выражение материнской доброты.

Четыре одинаковых гроба бесконечно умножили человеческое горе.

Смерть стерла все различия, мертвые лежали один за другим: старый ворчун Пёнтек, Қымышка-Пицмаус, бригадир Стшалка и Лишчар. Гавлик добился, чтобы всех хоронили вместе, кто знает, возможно, подействовало раскаяние за то, что не верил он в серьезность болезни Лишчара.

У выступавших слова застревали в горле, и только голос приглашенного ради верующего Пёнтека священника звучал над гробами гладко, слово к слову: для него похороны были делом привычным.

В другом конце зала возвышалась голова Михала. Отыскав его, Вера не сводила с мужа глаз, снежинки постепенно превратились в капельки, блестели слезинками на пальто, на волосах. Вера задыхалась от нехватки воздуха в переполненном траурном зале, от нестерпимого тоскливого желания прикоснуться к Михалу и убедиться, что он жив. Ей показалось, что она ненароком вскрикнула, но пронизанный болью стон вырвался у одной из дочерей Пицмауса — не выдержав напряжения, девочка вцепилась в гроб, хотя вовсе не отец лежал в нем, но ей было все равно, ничего изменить уже было нельзя.

— Папочка! Папочка мой любимый!

Крик ее потонул в рыданиях, у очередного оратора голос пропал в тот момент, когда он цитировал стихи Волькера * о смертном человеке и живой работе.

Вера больше не сдерживала слез, с ними вытекала душившая ее тоска, и она все больше наполнялась незнакомой ей прежде грустной нежностью к людям, всех ей хотелось утешить.

— Я Стшалковой помогу за ребенком ходить, — шепта-

ла ей Рогленша, — работать мне Руда все равно не разрешает, бесплатно пойду, как вы думаете, доверит она мне?

— Почему же нет?

Звуки скорбной музыки подняли новую волну рыданий, и Вера крепче вцепилась в ее локоть. Мужские голоса хрипло поддержали старинную песню о труде, для которого природой предназначен человек. В многоголосом хоре тонули слова тихой молитвы. Гробы исчезли, все было кончено.

— Теперь нужно выразить соболезнования, Верушка.

Вера послушно последовала за Рогленшей. Она никогда раньше не бывала на похоронах, и одна не сообразила бы, что полагается делать: обе выстояли длинную очередь, чтобы пожать руку близким покойных — взрослым и детям.

Когда-то давным-давно, в далеком мире детства, они с Милушкой затесались в погребальную толпу, и похороны показались им забавным, торжественным спектаклем. И вот сейчас они стояли лицом к лицу, одна заплаканная, другая — с сухими, лихорадочно блестящими глазами.

— Я же не виновата... — всхлипнула Вера.

На каменном лице Милушки промелькнула тень улыбки — через силу она заставила себя поднять уголки губ.

— Спасибо, — автоматически подала она подруге холодную, безжизненную руку.

Вера поняла, что Милушка не узнала ее, ничего не слышала. Ей хотелось остаться рядом с подругой, но очередь подтолкнула ее дальше. И она не противилась.

Подошел к Михалу и Герман. Лицо у него было убитое. И он уже проделал весь путь страстей господних — выразил свои соболезнования и, видя скорбь женщин и детей, побоялся даже, что бог покинул его, не соизволив ниспослать ни одного утешительного слова, не оградив от угрызений совести, с которыми сам Герман справиться не мог. Впрочем, никто ни в чем его не упрекал, напротив, благодарили за героическую помощь, но сам он глубоко страдал.

Наконец Герман выдавил из себя:

— Мы сделали все, что могли.

— Как будто мы не знаем, — ответил Михал, выглядывая Веру, — это и так ясно.

— Больше нам не на кого было надеяться, — добавил Роглена, — ей-богу, иногда так и хотелось закинуть само-

* Иржи Волькер (1900—1924 гг.) — выдающийся чешский поэт, один из зачинателей чешской пролетарской поэзии.

спасатель к чертовой матери и одним махом кончить с этим делом...

Он замолчал. Без всякого уговора разумелось, что обстоятельств гибели товарищей вспоминать не будут.

— Первый раз в жизни ждать для меня — это пытка, — улынулся Михал. Выискивая глазами Веру, он заметил приятеля, с которым когда-то работал в одной бригаде. Протиснулся к нему только у выхода.

— Яно? Ты как здесь оказался? Уж не перебрался ли опять в Остраву?

— Точно. И Ондreja с собой привез. Познакомься, это Ондрейко, брат мой младший.

Они вышли на улицу, на яркий свет. За это время снег разлегся по ветвям кустов, покрыл дорогу.

— Не вовремя ты надумал, мы сейчас вместо угля воду качаем. Там столько намерзло — у меня глаза на лоб полезли, когда за машиной ходил.

— Время не лучшее, — согласился Ян.

Он и сам был ошарашен, увидев гигантские волны льда под лучами тусклого зимнего солнца, и никак не мог взять в толк, откуда взялась на шахте эта сказочная стеклянная гора, но не признавался в этом. Не хотелось ударить лицом в грязь перед младшим братом, и он напустил на себя бывалый вид.

Братья и в родных местах без работы не остались бы, да вот беда — женился Ондрейко. Раньше, как хорошо было — дом ставили вместе — такие хоромы понастроили, не хуже дворца. Все шло своим чередом, пока в доме одна хозяйка была, но стоило младшему свою жену привести, начался ад, с утра до ночи ругались бабы. Ладно хоть между собой — пусть бы и дрались, так нет, мужиков стали втягивать. Пока окончательно из дому их не выжили, вот и оставалось теперь либо разводиться, либо строить еще один дом где-нибудь подальше.

— Не вовремя вы надумали, — повторил Михал, — по мне, так дуйте отсюда на всех парусах.

— Ты что, ты же меня знаешь, а Ондрейко мой — тоже не из робкого десятка.

Ондрейко молчал, все только краснел и на женатого не походил вовсе.

— Вы когда приехали? Сегодня?

— Точно.

— И сразу на похороны? — удивился Роглена.

— Да ведь знал я их, Пёнтека жалко, и Стшалку, свой был парень.

— Пойдешь в бригаду к нам? — спросил Выметал.

— Пойду, конечно, а к кому же еще?

Толпа перед крематорием расступилась. Выходили родные погибших, как-то нехотя садились в машины, присланные с шахты.

К группе шахтеров подошли их жены. Михал тут же притянул к себе Веру, в голосе его зазвучала гордость:

— А я вот жениться успел, Яно. Это Вера. А это Яно — мы два года назад в одной бригаде работали. Его брат Ондрейко.

Вера улыбнулась обоим — красивые, кареглазые, братья были явно похожи.

— Очень приятно, — ответил Ян и кивнул брату. — Вот видишь, Ондreo, какие тут девушки, чего тебе было торопиться.

«Чего, чего, — подумал Ондрейко, — все ссоры твоя жена начинает, не моя, никому проходу не дает». Однако вслух не сказал ничего, снова залившись краской.

Милушка вышла одной из последних. Сдернув с головы шляпу, точно та была тесна, она хмуро глядела прямо перед собой и, широко открывая рот, заглатывала морозный воздух. Родители тихо пытались ее в чем-то убедить. Наконец, она кивнула и, едва переставляя ноги, направилась к машине.

Зденек стоял бледный. По его лицу было видно, как следил он за трудным дыханьем Милушки:

— Лучше бы они ее дома оставили, ведь это ужасно, она ждет ребенка.

— Ужасно? — раздраженно переспросила Вера. — Да это просто ее счастье, ничего вы не понимаете. Если родится сын, он будет похож на отца, и Ярек навсегда останется с ней...

Вера опомнилась, губы ее задрожали. Она устыдилась своей несдержанности.

— Простите меня, Вера.

Михал с удивлением отметил, каким подавленным выглядит Зденек, никогда он таким не был и совсем не походил на того, прежнего Зденека, даже в глазах не осталось ни капли иронии. Никто так и не понял, за что он извинялся.

О маленьком эпизоде новогоднего вечера помнили только Зденек и Вера.

— Нет, вы просто вообще ничего не понимаете. — Теперь в словах Веры слышалась враждебность.

У него горько опустились уголки губ, и он быстро за-

шагал прочь по нетронутому еще снегу, оставляя на тонком насте черные следы.

Михал бросился за ним. Догнав Зденека, он силой вернул его к товарищам.

XXII

Порядка никто не определял, но каждый понял, что четыре рюмки во главе стола символически налиты мертвым.

Люди были продрогшие, усталые, со скорбными лицами, но постепенно все отходили, «оттаивали» в хорошо натопленном помещении, и тиски горя незаметно разжимались.

Гавлик встал. Его глаза тонули в черных провалах от усталости и недосыпания. Уже пятые сутки не кончался этот ад, позади были бесконечные разговоры с начальством из министерства, областного и центрального комитетов партии, впереди — суд. Его щадили, пытались помочь, все были больше заинтересованы в пуске шахты, нежели в доказательстве чьей-то вины. Но самому директору хотелось до мельчайших деталей вникнуть в причины аварии, понять, наконец, почему, вопреки всем расчетам, шахта подвела его. Воду уже откачали, но забои стояли опустошенными. Он убедился в этом утром собственными глазами и до сих пор слышал в себе отголоски слепого бешенства. Тщательно скрывая ото всех свою ярость, он не мог ей противиться — именно она служила источником энергии, помогавшей выдерживать все ожесточенные споры с начальством, дознания, превратившиеся в пытку.

С некоторой злостью вспоминал он даже мертвых: жалел, не мог простить, что не сумели спастись, хотя могли. Много лет проработав в шахте, он знал, что одно приходит в голову за зеленым сукном, и совсем другое — в ловушке, в полной изоляции от внешнего мира. Он простил бы им все, обнял бы как родных, не отдай они так легко свою жизнь.

Гавлик поднял рюмку.

— Прежде, чем помянуть погибших, я хочу еще раз заверить всех присутствующих, что руководство шахты возмет на себя заботу об их семьях; мы не можем вернуть вам мужей и отцов, но постараемся, по крайней мере, чтобы смерть кормильца не стала для вас сокрушительным ударом. Я имею в виду не только сторону материальную, мне бы хотелось, чтобы шахта во всем была вашей опорой,

прочным тылом, чтобы к нам вы обращались со своими бедами, жили с нами одной семьей.

Тронутый собственными словами, идущими от самого сердца, он помолчал немного.

— Я поднимаю бокал за тебя, Пёнтек, шахте ты остался верен до самой смерти. За тебя, Ярек Стшалка, ты отдал людям лучшее — свою молодую жизнь...

Прямая, с порозовевшими в тепле щеками, Милушка, отодвинувшись от стола, сидела неподвижно, одной рукой вцепившись в его край, другой сжав рюмку с водкой. Едва Гавлик произнес имя ее мужа, она встала и так сильно чокнулась с одной из четырех рюмок, что опрокинула ее. И выпила свою до последней капли.

Это нарушило планы Гавлика, он хотел сказать обо всех сразу, а теперь ему пришлось подойти к Милушке и семье Пёнтека.

— Я начал с самого старшего, — продолжал он с воодушевлением, — но так же искренне я пью за Пицмауса, который издалека приехал на шахту, чтобы помочь республике. Мы тронуты, что его семья дала согласие на эти похороны, что в трудную минуту она с нами. Пью я и за Лишчара, он до последней минуты оставался на рабочем посту, рвался с горноспасателями в шахту. Герои труда, они навсегда останутся в нашей памяти.

«А я вот не останусь, — подумал Зденек, даже жаль — насколько все было бы проще». Водка согрела его, но облегчения не принесла, только обострила восприятие.

Дочери Лишчара выпили за отца по бокалу лимонада, вдова старалась держаться изо всех сил.

Сколько раз заставляла она мужа пройти обследование, как положено, но он так и не собрался. До чего у тебя все просто получается, препирался он с ней, да не могу я, просто не могу себе позволить остаться дома. Теперь все на работе пойдет по-старому, но уже без него, а память о нем сохранится разве что в сердцах детей. Пройдет не так много лет, и никто даже не вспомнит, что был такой — инспектор Лишчар. А то еще и недобрым словом помянут — мол, недосмотрел. Мертвым за себя постоять не дано.

Только страх заставил ее согласиться на общие похороны и участие в поминках — этом варварском обряде, идущем, должно быть, с языческих времен. Чужой сидела она среди людей, которые вот-вот, размякнув, начнут вспоминать погибших, светлые минуты, прожитые с ними. Ей же хотелось одного — полного одиночества, тишины, не нару-

шаемой даже тонкими голосами собственных детей, но именно ради будущего обеих дочерей она искала защиты у коллег мужа. Не могут они сбросить его со счетов, раз сидят за одним столом с ней и ее детьми, совесть не позволит. Если и была за ним какая-то вина, он искупил ее своей смертью.

Добрым словом помянул покойных секретарь партийной организации.

— Старый Пёнтек ром пил,— тихо вспомнил Роглена,— надо было рому ему налить.

Эрих Выметал посмотрел на него тяжелым, затуманенным взглядом. Пил он мало и неохотно, алкоголь растревожил его. С каждой рюмкой настойчиво возвращалось прошлое, недавний ад. Заботливо присматривая за мужем, Выметалова не одергивала его.

Выступил председатель шахткома.

— Эрих, скажи теперь ты что-нибудь, ты из нас самый старший.

Выметал только головой покачал.

Михал поднялся сам. Он довольно громко отодвинул стул, все повернулись к нему. Заранее он ничего не придумал, и ему вдруг показалось, что он не сможет выдать из себя ни слова.

Наполнив рюмку, он успокоился.

— Я не хочу пить за мертвых товарищей, для нас они остались живыми. Не забудем мы ни Енду Пицмауса (чуть было не сказал — Кышмышку), ни Лишчара, а Пёнтек работал в нашей бригаде так долго, что мы вообще не позволим ему уйти, предлагаю навсегда зачислить его в нашу бригаду, и каждый возьмет на себя часть его работы. А еще я предлагаю присвоить нашей бригаде имя Ярослава Стшалки, нашего...

Аплодисменты заглушили его последние слова, бригада поддержала его: он словно высказывал мысли своих товарищей. И только Роглене не все понравилось, хотя хлопал он не тише остальных: мол, тогда уж Пицмауса надо было в почетные члены двигать, работы бы не прибавилось. Вслух он, конечно, этого не высказал, только бросил взгляд на двух худющих, носатых дочек Пицмауса, которых ему было жалко. Единственное, что он мог для них сделать — выпить в память об их вечно метавшемся отце.

— Мой, кажется, набрался,— шепнула Рогленша Вере.

Та не ответила. Впервые она ощутила себя частью Михала, одним целым с ним, и ей не хотелось, чтобы сейчас кто-то мешал этому. Слушая его, она мгновенно улавлива-

ла любое колебание, пугалась, что запнется, но тут же успокаивалась. Вера с восторгом смотрела на мужа, как в далеком детстве — на кузнеца, он казался ей таким же большим, красивым, непобедимым, ей передавалась его внутренняя сила, и она гордилась, что принадлежит ему.

Поднялась Милушка. На лбу виднелись капли пота, голос звучал натянуто, словно металлическая нить.

— Спасибо, спасибо вам за то, что добрым словом мужа моего поминаете, ведь и Ярек всех вас любил. Он и вечерами о вас думал, рассказывал мне о вас, о ваших делах, все помочь хотел, чем мог... Он вас очень любил.

Закончив фразу, она, так и не подняв рюмку, быстро направилась к выходу, неся свой огромный живот. Вскочив, торопливо пошла за ней мать. В дверях путь Милушке преградил Комар.

— Если вам что нужно будет, молодая пани, Офнер моя фамилия, а все Комаром зовут, мало ли что потребуется, починить что, водопровод там, радио, мало ли...

Милушка вся напряглась, но нашла в себе силы улыбнуться.

— Я знаю, Ярек всегда говорил, что у вас руки золотые.

Легонько отодвинув его в сторону, она вышла.

Сев в машину, тут же свилась в клубок, только голос звучал по-прежнему бесстрастно:

— Прошу вас, мне в роддом надо, но сначала в Порубу заедем, за вещами.

— Милушка, поехали сразу в больницу, а чемодан я позже подвезу.

— Нет, не поеду я без вещей, что я — девка уличная? Ты, мама, не бойся, у меня все уже приготовлено.

Боль скрутила ее, на миг она забыла обо всем.

— И все-таки, может, лучше за чемоданом потом заехать?

— Да выдержу я, мама.

— Зато я — нет,— вмешался водитель,— гололед и темень, глаз выколи.

Машина забуксовала в запорошенной колее. Валил густой снег.

— Давайте к роддому,— решила мать,— я на себя такое не возьму.

Раздавленная новой волной боли, Милушка прижалась к матери и разрыдалась. Она подумала, что Ярек не принесет ей цветов в роддом, и вспомнила терпкий аромат запахнутых в портфель гвоздик. Это были первые в ее жизни

цветы, но и те предназначались другой, и Яреку уже никогда не искупить этой лжи. Она целиком погрузилась в свое горе, мир был невыносимо несправедлив.

Йожину казалось, что стул его превратился в лодку, он плыл в ней вдоль берегов, заполненных людьми. Лица казались ему знакомыми, но лодка шла быстро, и различать их он не успевал. Было непонятно, как это: в лодке — и вдруг резать мясо, глупо как-то, куски на тарелке плодились, как мыши.

До сих пор никто еще не посмел обратиться к Михалу по кличке, но Йожина так и подмывало рискнуть, вот только рот странным образом свело, и губам не удавалось сложиться в слово.

Усилием воли он заставил их подчиниться.

— Медведь, а, Медведь!

Малыш и сам испугался своей дерзости, но взгляд Михала был беззлобен.

— Чего тебе?

— Почему мы в лодке?

— В какой еще лодке?

Йожин потянулся к нему рукой — Михал уплывал куда-то в сторону.

— Закусывай, малыш, ешь как следует!

Он налил содовой — ему и себе.

— Отличный ты парень, Йожка, а это все пройдет.

Йожка был почти счастлив, и все-таки чувствовал, что в глубине души его что-то гложет. Вдруг все лица перед ним остановились, и он понял, что никакой лодки нет и в помине.

— Я хотел к вам спуститься, честное слово, можете у директора спросить.

— Чего спрашивать, мы и так тебе верим. Ешь давай!

После трапезы вдова Лишчара, отговорившись детьми, уехала. От ее тихого отчаяния веяло могильной тоской, и стоило ей выйти — обстановка разрядилась.

Гавлик, прощаясь со всеми, кивнул Михалу, выйди, мол. Бригада оглянулась им вслед, но никто слова не сказал.

— Кофе сейчас просто необходим. Выпьем по чашечке? Почему вас называют Медведь?

— Это уж вы у бригады спрашивайте. — Михал явно давал понять, что в душу лезть не позволит. Бодрый тон директора шахты его насторожил.

Вспомнив загадочную надпись на окне красной машины, Гавлик устало улыбнулся:

— Заядлый автолюбитель, а? В армии полковника возили, насколько мне известно. Что вас побудило пойти на шахту?

Официант принес две чашки кофе и лимонад. Они сидели в маленьком зале, разделенные повисшей между ними тишиной.

«И когда он ухитрился прочесть мои документы, — думал Михал, — на это ведь тоже время надо». В голове был туман, тем более нужно сосредоточиться. Он всыпал в чашку пакетик сахара, Гавлик придвинул ему свой. Михал внимательно наблюдал за ручейком мелких кристаллов.

— Не по душе кучером быть у господ.

Гавлик улыбнулся.

— А я вас в шоферы и не агитирую.

— Тогда в чем же дело?

Директор пригубил из чашки. Кофе был слишком горячий.

— Вы же автомеханик с образованием. При желании можете зарабатывать больше и с меньшими затратами.

— Может, не люблю я ни чаевых, ни взяток, может, не выношу даже. Может, мне именно такая работа нравится, до которой охотников немного. По крайней мере, ни в деле, ни в словах себя не стесняешь.

Какой там медведь, подумалось Гавлику, да это тигр или орел. Впрочем, с медведем тоже шутки плохи.

— Это, конечно, верно, но есть ли для вас в такой работе смысл. Лопату у вас никто не отнимет, это уж точно, да по вас ли она? Послушайте, скажите мне честно, какой Стшалка был бригадир?

Ах, вот оно что, осенило Михала, вот при чем тут кофе. Подслащенный — директорским сахарком.

— Отличный. Одним был плох — начальству возразить не умел.

— А вы убеждены, что руководство всегда не право?

— Нет, почему же. — Чашки кофе для протрезвления оказалось мало. Михал сжал голову руками, надо было как-то остановить рой мыслей. — Но я считаю, просто хамство, что самых надежных, самых сознательных людей посылают чуть ли не помойку копать.

Гавлик покивал головой. Допил кофе. Ложечкой копнул черную гущу. Закурил.

— Не умеем мы пока по-другому, товарищ Колига, кто работать научился — тот так и работает до самой смерти, а если кто у других на шее поднатореет ездить — тут уж я

бессилен. Хотя иногда меня это бесит. Даже не иногда. А вот что уголь нужен — тут уж никуда не денешься. В следующей пятилетке нас полностью механизировать, за это я могу поручиться. А пока — первый же комбайн отдаем вашей бригаде, без всяких разговоров — обещаю.

— Ну и что же, нам в благодарность за это в понедельник выходить?

— В субботу.

— Завтра значит. И в воскресенье тоже.

— Значит, так.

— Внизу, поди, болото.

— Хуже, чем вы думаете. Но вам теперь и море по колено, разве я не прав?

Михал нахмурился. Ну, начальник, знает, с какого конца подойти. Не надо было вообще с ним в разговоры пускаться, особенно теперь, когда в голове шумит.

— План надо давать — вынь да положь.

— Но три дня нам с плана-то скинули?

— Силен ты, парень. Бывает, от начальства что-нибудь скрыть удастся, но от подчиненных — никогда.

— Хуже локатора, товарищ директор.

— В общем, договорились. Ты будешь бригадиром, а за мной комбайн.

Михал словно не заметил протянутой ему руки.

— Минуточку!

— Ты что, не веришь моему честному слову?

— Почему же? Но вдруг завтра вы уже не будете директором.

Гавлик удивленно поднял голову.

— И то правда, — грустно улыбнулся он, — начальники приходят и уходят, а шахтеры остаются.

Как будто тьма навалилась на него со всех сторон, безнадёжная усталость лишила последних сил. Нет, если бы, если бы у него был сын, на все неприятности, на все поражения он смотрел бы иначе, под другим углом, а работа приобрела бы более глубокий смысл.

— Я совсем не то имел в виду, — спохватился Михал, — мы и без уговоров ваших на смену выйдем, сами знаете. Но бригадиром мне не хочется.

— А мне, парень, знаешь, сколько всего не хочется? Пошлю тебя подучиться, согласен? Справишься, я уверен.

Гавлик встал. Погасил сигарету.

— Если кто-то из нас силен, — медленно начал Михал, — если кто-то из нас двоих и силен...

Он не договорил: Гавлик уже оставил его одного. В пельнице чуть дымился окурочок.

Михал допил кофе и еще некоторое время пытался разобраться в своих мыслях.

В коридоре он столкнулся с женой Пицмауса. Она спешила на поезд. Женщины уговаривали ее приехать как-нибудь, со слезами на глазах она давала им обещания, но все знали, что никогда уже им не встретиться.

— Енду мы не забудем, и если что понадобится...

Она протянула Михалу руку.

— Я знаю, вы добрый человек.

Добрый, да, к счастью, не очень, признался себе Михал. А то, что Пицмауса мне никогда не забыть, не сомневаюсь.

С ужасом он понял неумолимый закон жизни. Если бы у Ярека Стшалки хватило решимости исключить из бригады вербованного неумеху, они остались бы живы. Оба.

Михал вернулся к остальным, с уходом последней вдовы грусть улетучилась. Со всех сторон наперебой посыпались воспоминания, то там, то здесь раздавался негромкий смех.

В раздумье он сел на свое место.

Вера посмотрела на него вопросительно.

В ответ он только пожал плечами.

Никто из ребят ни о чем не спрашивал. Что это было — доверие или недоверие? Во всяком случае, он чувствовал, что должен с ними объясниться.

— Эй, ты, к черту, слышишь? — требовал внимания Комар. — Слышишь, Зденек, а пруды здесь есть?

— А я почему знаю. Я гляжу, тебе той воды мало было.

— Домик мне у пруда позарез нужен. И чтоб аисты на крыше.

— Аисты? Дурень ты. Аисты-то зачем? Неужто думаешь, они детей носят, а?

— Да полно тут прудов, — вмешался Михал. — Острада на болоте строилась, остались здесь пруды.

— А аисты?

— Давай-ка выпей, вот что.

Зденек налил в бокал вина. Но васильковые глаза Комара были далеко-далеко.

Совсем развезло Йожина.

— Да я за вами спуститься хотел, — гудел он в ухо Эриху Выметалу, — прямо сразу хотел вернуться. Эрих, я ему и говорю, инженеру, ну, вонючему этому, да мне, говорю, под водой раз плюнуть, в училище я дольше всех вы-

держивал, мы в умывальнике тренировались. Роману тогда пришлось искусственное дыхание делать...

Эрих не слушал его. Он внутренне расслабился, и, когда поднял от стола голову, Йожин тут же умолк: даже сквозь туманную завесу алкоголя пронзил его угрюмый, странно-бездонный взгляд Выметала.

Через час надо вытаскивать их отсюда, подумал Михал, чтоб до утра протрезвели, в общежитие не забыть бы позвонить, чтобы Яно завтра вышел, придется попросить за него, брат бы его деру не дал, а то как увидит, каково там, внизу. Неловко стало за собственные мысли. Прямо как бригадир рассуждаю, а, может, еще вовсе им не буду. Это было бы лучше, спокойнее, надо было отказаться более решительно. Он глянул на свою напившуюся бригаду, подумал: работа предстоит адова — что с комбайном, что без него. Это не пугало, скорее, привлекало его: бригадиром быть все-таки хотелось, как ни убеждал он себя в обратном.

— Директор нас завтра в первую смену назначил, — бросил он как бы между прочим.

— Ну, и ты ему пообещал? — спросил Зденек.

— Как я без вас могу что-то обещать?

— Можешь, можешь, — загудел Выметал, и даже должен — не привыкать же нам к чужаку.

— А я-то как же со своим бюллетенем, — ужаснулся Йожин, — можно, и я с вами? Не отправите к врачу, а?

— Годишься ты, Йожка, — ответил ему Роглена, — такой лаптёй, как твоя, в самый раз в дерьме вязнуть.

— В дерьме, не в дерьме, — а хорошо бы трезвыми.

— Ты чего боишься, до утра мы будем в полном порядке, даже Комар.

— Все правильно, только пруд мне поможет найти, пусть хоть маленький, а лягушек пусть побольше будет. И аисты.

— Пора собираться, — решил Выметал, — горе залили, детям домой пора. И он выразительно посмотрел на женщин.

Похожая на чистенькую, беленькую курочку, хотя и была одета во все черное, Выметалиха тут же закрутилась на месте, прокудахав что-то детям, но осталась сидеть в ожидании, пока поднимется ее муж.

— А мы-то сегодня еще в театр собирались, даже представить себе трудно, да, Верушка. А мне так хотелось.

По лицу Рогленши текли пьяные, легкие слезы. Она то вытирала, то совсем забывала о них.

В ту ужасную ночь она без конца заводи́ла «Русалку», и Роглена в ее сознании постепенно сливался с принцем. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы он когда-нибудь назвал ее «лань моя белая», хоть один-единственный разочек. Увы, словарь Руды изобиловал другими выражениями.

— Лань — это ведь вроде коровы, да?

Вера глаза выкатила.

— Что-что?

Олдржишка Рогленова вернулась на землю:

— Да вот, говорю, в театр сейчас никак не время.

— Знаете что, поехали как-нибудь на Грунь*, а? Я организирую. Какая там красота, снег всегда белый лежит, а звезды вечером низко-низко.

— Да мы лыжами не увлекаемся.

— Это неважно. Как хорошо пешком на Белый Крест** подняться, там грогу можно выпить...

— Ну, на это Руду, пожалуй, подбить можно, а вот насчет лыж...

Вера рассмеялась. Сидевший напротив Михал подал ей знак. Она легонько обняла обеих соседок за плечи, когда-то именно так ходили они с подружками в школу. И вдруг почувствовала, что начинает их любить.

— А может, одни съездим, без мужиков?

Вера представила себе, как, зарываясь в чистый снег по самый пояс, она карабкается на гору, скользит, напрасно пытаюсь ухватиться за сыпучую белизну, поднимается все выше, пока не оказывается на самом верху, совершенно одна в белоснежном пустынном краю. Ей стало не по себе, и улыбка мертво застыла на губах.

— Да я знаю, одним нельзя. Просто я пьяная.

— Не беда, горе залить надо, как следует, чтобы мертвым спокойнее было.

Все-таки мудрая была эта Выметалова.

Михал встал. Вера пошла за ним. Один за другим шахтеры потянулись к выходу.

XXIII

ни вошли во двор, заваленный снегом, из колоды горчал топор. Бушевала метель.

Где-то тут это было, вспоминал Михал, может, чуть ближе к вокзалу, к тому нелепому вокзалу, куда современный локомотив въезжает, как в прошлый век.

* Вершина в Малых Фатрах, в Словакии.

** Вершина в Бескидах.

Подхваченный толпой, он тащил свой солдатский чемодан вверх по деревянным ступеням, и ритмичное цоканье каблучков помогало ему утвердиться в принятом решении: домой возвращаться он не хотел, не мог, собственно, и дома уже не было — мать перебралась в другую семью, к другим детям.

Он остановился посредине моста, в глазу нестерпимо колола залетевшая соринка. Он стоял, поставив чемодан между ног, и, оттянув веко, пытался вытащить жгучую крупинку сажки с помощью платка, а в ноздри уже въедался особый запах города — туман и дым, пепел и копоть. Глаз слезился, вторым он видел поезда и рельсы, в сером тумане, за спиной отдавалось эхо шагов.

Небо над ним висело, как тусклый, давно небеленный потолок, уродливые дома с облупившейся штукатуркой навевали безнадежную тоску.

Ветви деревьев уже затаили фиолетовое дыхание весны, но пока их заполонили вороны. Он чуть было не повернул назад. Неожиданно перед ним открылся вид на маленькие домики, в одном из дворов стояла колода, острие топора блеснуло под солнцем, прямо из земли вылезало несколько низких, румяных тюльпанов. Пахнуло жильем, домом, и город не казался больше таким чужим.

Скорее всего, и домик был другим, и вокзал теперь уже вот-вот снесут, и весь район этот по обветшалости обречен.

Снег приглушал шаги, они прошли мимо окна болтушки-соседки, метель и выпитая водка развеяли их; в доме залаяла собака.

Пес, наготове стоявший у дверей, прыгнул на Зденека, как только тот отпер ее, и, бурно здороваясь, лизал его прямо в лицо.

Всем троим стало не по себе — с морозу ударил в нос запах Пёнтека, насквозь пропитавший кухню-прихожую. Казалось, старый шахтер вот-вот выйдет из угла.

— С ума сошли,— сказала Вера,— мы все сошли с ума.

— Да пусть же ты, чертяка, погоди!

Пайташ был настоящей дворнягой, унаследовавшей черты сразу нескольких пород. Лапы у него были тонкие, кривые, хвост лохматый и закрученный кверху — именно с его помощью он выражал свой восторг, шерсть на туловище росла короткая, бурая, форма головы ему досталась от овчарки, только уменьшенного размера. Но самой забавной была серая маска, словно надетая на морду, — она делала ее похожей на клоунское лицо.

— Правда, на меня чем-то смахивает.

— Брось, Зденек, не дури.

— Иди, иди сюда, Пайташек, хозяин тебе кое-что припас.

Разорвав мясо на кусочки, он положил их перед собакой на листе чертежной бумаги.

— Пить за упокой хозяйской души он не может, пусть хоть поест.

— Прекрати! — предупредительно цыкнул на него Михал.

С опаской оглянувшись на него, собака взяла кусок в зубы и отнесла его под печку.

— Ест со вчерашнего дня. Я уж боялся, что подохнет с голодухи.

Вера глядела на грязного, запущенного пса с отвращением, но сдержалась и промолчала.

Под слоем пепла тлели угольки: разворошив их, Зденек подложил в печь поленьев, нарубленных из отслуживших свое стоек.

Раздев гостей, он стряхнул снег с их пальто прямо на пол.

— Я принесу вам стулья сюда, а то в комнате холодина.

Стол был липким, залитым чем только можно. На посудном шкафу стояли пустые бутылки из-под рома.

— Видал, Миш?

В широко открытых глазах мелькнул страх перед чем-то неясным, неведомым — нет, не за себя, потому что она знала — Михал в обиду не даст.

Зденек приволок два допотопных стула с высокими спинками.

— Вот трон для вас, принцесса. И для вас, о мой король. А бутылки — это после старика осталось, на моей совести только три.

Ни пьяным, ни трезвым назвать его было нельзя. Голос звучал выше обычного, шутки казались неискренними.

— Четвертую вместе выпьем. Или кофе хотите?

— Кофе, лучше только кофе, Зденек.

— Нет тряпки какой-нибудь, я хоть стол протру.

Он подал ей рваную майку, Вера брезгливо взяла ее и намочила под струей воды. Чугунная раковина, забитая ко всему кофейной гущей и картофельными очистками, годилась только в музейные экспонаты.

Огонь разгорелся, дерево приятно потрескивало. На окнах разросся ледяной папоротник, заслонив вид на двор.

Зденек подложил в печь большие куски черного угля. Сполоснув кофейник, поставил кипятить в нем воду. Извлек из застекленного шкафчика старомодные рюмки и чашечки с картинками из «Проданной невесты». На всем лежал многолетний слой пыли.

— Давай, помою, — предложила Вера.

Взглянув из хлама жестяную посудину побольше, она наполнила ее горячей водой. Пыль была жирная, оторвав кусок майки и, посыпав его песком, Вера принялась приводить посуду в божеский вид.

Ухмыляясь, Зденек открыл ром, разлил по рюмкам.

— В общем, я вас приветствую у нас дома.

Вера сделала глоток. Мы просто сошли с ума, Зденек тронулся, а мы тут расслаживаемся с ним и хлещем ром, ей хотелось кричать.

Пайташ вернулся за очередным куском мяса. Своей худобой, недоверчивым взглядом и комичной маской он и в самом деле чем-то отдаленно напоминал парнишку с седыми волосами. Может, и в самом деле это было забавно, но только не сейчас.

— Зачем, Зденек? — тихо спросил Михал.

Конфорки нагрелись, вода закипала. Изразцовая печка источала желанное тепло.

— Что — «зачем»?

— Вот это все. Кому ты этим поможешь?

— Пайташу. Кроликам.

Вера встала и заварила три кофе.

— Зденек, я ведь с тобой серьезно.

— Я тоже не шучу. — Сев, Зденек нервно притопывал ногой. — Что тебе здесь не нравится? А когда Пёнтек жил, значит, нравилось?

— Он был совсем старик.

— И никто не заставлял его здесь жить, — взорвалась Вера, — он давно мог бы перебраться к детям. Или на шахте получить однокомнатную квартиру, кому-кому, а ему бы дали.

— Вер, не кипи. И сядь, наконец.

— Я ишу сахар.

В фарфоровой посудине с надписью «Сахар» было обнаружено нечто слипшееся и поглотившее целый муравейник. На шкафчике лежала начатая пачка рафинаду. Вере мыть больше ничего не хотелось, и она поставила сахар на стол прямо в коробке.

— Наверняка никто из родных не отказался бы у него прибраться, — сказала она сердито.

— Взять хотя бы ту же соседку, — подтвердил сам Зденек, — она на него глаз положила, хотела даже, чтоб он на ней женился.

Пайташ подполз ближе к Зденеку, и положив голову на ступни его ног, прикрыл глаза.

В заброшенной жилой комнате рядом с кухней было темно, запах табака убивал все, вплоть до кофейного аромата — видно, его источали даже грязные стены со множеством зеленых пятен-подтеков.

— Так, может, ты на ней женишься вместо него? — не выдержал Михал. — А что: его собака, его кролики, его табак, его ром — остается только соседка.

— Кто знает, может быть, я бы ее вполне удовлетворил.

У Михала кулаки чесались одним ударом сбить с лица отвратительную ухмылку. Он уже пожалел, что позволил Зденеку сразу же с похорон затащить себя в гости, да еще вместе с Верой. Жалости Зденек у него не вызывал — он был по горло сыт его выходками.

— Ну так и женись на ней! По крайней мере, пол тебе вымоет. А то живешь тут, как свинья.

Зденек помешивал кофе. Казалось, резкий тон Михала ублажает его слух.

— Все равно эти дома скоро на снос, — сказала Вера.

Железная печь раскалилась докрасна.

Зденек распахнул дверь в комнату:

— Пошли, я вам кое-что покажу.

Здесь было светлее, окна выходили на открытое пространство.

Прямо на голой стене была написана большая картина. Только двумя красками — серой и розовой. Лишь спустя некоторое время они начали различать десятки составлявших их оттенков.

Здесь были серые терриконы, серое небо, лабиринт серых труб, серый дым. Из серого полумрака проступали размытые контуры лежащей нагой женщины, ее тело, излучавшее розовый свет — а может, это был отблеск огня и солнца, — уходило в серую глубину, краски играли, переходили одна в другую, доходя до своей максимальной яркости, рождались одна из другой, одна в другой гасли.

Михал застыл, сердце сжалось. Он снова услышал голос Пёнтека, его последний рассказ о женщине-видении. Говорил ли он правду, или все придумывал, чтобы отвлечь их от невеселых мыслей? В горле жгло.

— Да это же Острова, — удивилась Вера. Картина потрясла ее. — Хотя нет, — поправились она, — такой была

Острава, такой вы ее не можете знать. Теперь она совсем другая.

— Какая?

— Другая, и все. Светлее, веселее, ну, я не знаю. И моложе. Конечно, моложе — все у нее еще впереди... Картина удивительная; жалко, что написана прямо на стене, вот обидно-то.

Ей и в самом деле было жаль картины. Скоро приедут машины, снесут домишко, и в обломках погибнет живое существо — так ей казалось.

Михал сел на неприбранную постель, не сводя с картины глаз.

— Зденек, я поговорю с директором шахты, слово тебе даю, я сам ему все объясню, и ты вернешься в институт...

— Чтобы ноги моей в бригаде не было? С трусами знаться не желаешь?

— Какой же ты трус.

— Ты прекрасно знаешь какой. До меня еще на похоронах дошло, что ты сам все понял.

— Это касается только вас двоих. И больше никого, ясно? Старик знал, что делает. Ему самоспасатель все равно был уже ни к чему, можешь ты это понять?

Вера вышла на кухню, хотелось побыть одной. Она слышала каждое слово, но не желала вникать в их смысл — чужая тайна — лишнее бремя.

— А ты бы взял на моем месте? Ответь! Взял бы?

— Не знаю.

— Нет, знаешь!

— Не знаю, черт тебя возьми! Не знаю — и дело с концом. И запомни: никто не имеет права осуждать тебя, никто из тех, кого там не было.

— Но ведь ты там был.

— Я ничего не видел. А язык свой попридержи, а то схлопочешь-таки.

— Да не могу я, ведь я, Миш, не хотел брать, а он меня к стенке припер, как будто так и надо, я и упустил момент, в отключку впал, понимал только, что происходит непоправимое, и жизнь, как ни крути, кончена.

— Нет, ты у меня, ей-богу, получишь, если вот так плакаться будешь всем подряд. Ты мне уже во, где сидишь, погряз тут, понимаешь, в собственном дерьме и орет налево и направо — посмотрите, мол, люди добрые, что я за чудовище, глядите и запоминайте. И почище тебя бывают, а понимают, что хвалиться нечем.

Зденек неожиданно рассмеялся. Весело, по-мальчишески.

Пайташ внимательно следил за ним все время, громкий разговор ему не нравился и мешал дремоте.

— Пошли, Медведь, закоченеешь тут у меня. Или Пайташ тебя тяпнет.

Зденек прошел в кухню первым, налил себе в кофе рому и, даже не пригубив, просто вдыхал смешанный аромат. Собака привычно пристроилась в ногах.

Михал стоял в комнате один, вглядываясь в картину, словно желая проникнуть в самую ее суть. Едва теплящаяся жизнь тонула в горе, живая надежда была неотделима от грусти.

Он вернулся в кухню.

— Я тебе помочь хотел, Зденек, не понимаю я тебя, мне кажется, у тебя талант. А коли так — жалко тебя, лопатой махать каждый сумеет.

Зденек даже подскочил. Собака недовольно заворчала.

— А вас не жалко? Чем я лучше тебя? Пёнтека? Йожки? Эриха? Кого еще назвать? Ну, скажи, чем я лучше? Объясни мне. Не жалко? А себя не жалеешь?

— Дурак ты, дураком, видно, и умрешь. Ошибаешься, никого мне не жалко, а на тебя в таком случае и вовсе плевать. Выходишь завтра на смену — и выходи, только чтоб ромом от тебя не несло, а то выгоню взащей.

— Уже завтра?

— Оглох?

Зденек был ошарашен. Он сел, хотел было выпить кофе, но поставил чашку обратно на стол. Дрожавшие руки зажал между колен.

— Мы пошли, Зденда, выпишь как следует. Дай нам этот ром на дорогу, а?

Зденек криво усмехнулся:

— Ради бога, под кроватью еще три непочатые бутылки.

Они зашли в комнату за пальто. В сгущавшемся сумраке картина казалась еще печальнее, светилась жизнью кожа женского тела, а может, отражала огненные или солнечные блики.

Метель кончилась, двор был затоплен снегом. Кролики прижимались носами к металлической сетке. Их густая шерсть казалась пожелтевшей.

Они оглянулись. В окне Зденека зажегся огонь. Михал крепче сжал ее руку и стал пробираться вперед, как по канату.

- Думаешь, завтра он выйдет?
- Обязательно, чтобы самому себе доказать, что он — мужчина. А вот трезвый ли — не уверен.
- Неужели обратно отправишь?
- И отправлю.
- Суров ты.
- Не без этого.

Лицо его приняло то самое застывшее выражение, которого Вера побаивалась. Она прижалась к мужу.

— Все, что ты слышала, Вера, забудь, и чем скорее, тем лучше.

— Судачить — не мое хобби, — обиделась она.

Молча они дошли до трамвайной остановки. Стоял старый состав. У новых на морозе то и дело перегорал мотор.

Они протиснулись к окну на задней площадке, на заледневшем стекле кто-то нацарапал: «Перевозка мороженных продуктов».

Улыбнувшись, Вера продышала на стекле кружок, чтобы посмотреть на улицу. Ползли они как черепаха. Михал повернул ее к себе. Она инстинктивно поняла — сейчас тот момент, когда она должна заставить его относиться к себе, как к равной.

— Правда, что он разбил тебе голову?

Михал оглянулся — каждый из продрогших пассажиров был погружен в свои заботы.

— Я должен был замять эту историю, понимаешь? Он в Праге натворил дел, срок получил условно... К нам его на исправление прислали:

Напрасно Вера пыталась подавить смех, уткнувшись в пальто Михала, ей было неудобно, но хохотала она до слез. Михал загородил ее от пассажиров, обняв двумя руками, оберегая от прикосновения к холодному стеклу.

— Что я такого особенного сказал?

— И какому идиоту... боже, какому же идиоту пришла в голову эта идея?

Смех иссяк.

Идея и вправду была гениальная — послать на заработок, чтобы отучить пить.

— Ему, наверное, лечиться надо, — сказала она уже серьезно, — а больше вы ему ничем не поможете.

— Для лечения тоже воля нужна. Вера, может, ты больше меня понимаешь, — скажи, тебе не кажется, что у него — талант?

— Определенно. Никогда я еще не видала ничего подобного. Но и талант без воли — ничто.

Она прижалась к мужу. В конце концов, какое им дело до Зденека, каждый в ответе сам за себя. Нет людей без забот, у каждого — свое. Жалость свою к Зденеку она подавила — вон их сколько было внизу, однако больше никто не поседел. От Михала исходило тепло, колючая ткань покрылась влагой от теплого дыхания Веры. Она расстегнула пуговицу его пальто и уткнулась холодным лицом в жаркий свитер.

— Волосы твои я, положим, люблю, а вот лисью шерсть во рту — не очень.

Она сняла шапку, для головы было теперь более надежное укрытие.

— Что ты ответишь матери по поводу холодильника?

Он пальцем повторил надпись на окне. «Перевозка мороженных продуктов».

— Напишу, что он у нас на балконе.

— Господи, и как ты меня только терпишь?

— Сам удивляюсь.

— У меня ведь никогда не было того, что я хотела. Только то, что нужно, причем решала мама.

Он придерживал ее обеими руками, не позволяя прикасаться к ледяной стене, сверху обогревая своим дыханием.

Вера снова почувствовала страх. Может быть, от ощущения счастья? Страх потерять.

— Как же хочется ребеночка, Миша.

— Не в трамвае же...

Она даже не улыбнулась, взгляд застыл.

— Вера, ну что вдруг на тебя нашло? Когда я за руль сажусь, тебе не страшно? А по статистике...

— Знаю. Все я знаю. Все равно хочу ребенка.

Трамвай резко затормозил. Он едва удержал ее, стоя на широко расставленных ногах. Пассажиры заворчали, кто-то помянул водителя. Никому не было до них никакого дела.

— Ты же летом на море хотела поехать.

Не ответив, она снова спрятала лицо. Щемящая тоска накатила неожиданно, так же, как минуту назад — смех, противиться было бесполезно. Она твердо знала, что не сможет удержать Михала, если он решится уйти от нее. Пусть останется хоть часть его — ребенок.

А он не представлял себе ее беременной, боялся, что она утратит свой девичий облик, а ему так хотелось, чтобы она всегда оставалась веселой, беззаботной. Ничего, это просто ее каприз, через пару дней она о нем даже не вспомнит.

— Многовато мы сегодня выпили, девочка, — сказал он ласково, — и вообще, день был трудный.

Они пришли домой. Как ни пытался он внушить ей, что все дело именно в этом, она больше думать ни о чем не могла.

— Вер, да у тебя сейчас просто мозги не варят, ты подумай только, сколько мы выпили.

Лаская ее, он ничего не сказал о том, что его все еще мучит воспоминание о похоронах, четыре гроба стояли перед глазами, он чувствовал на себе дыхание чужой смерти, и боялся, что это не лучшее, что можно передать ребенку.

— Ты противный, чурка бесчувственный, вот ты кто. Нормальные люди в такую минуту голову теряют.

— Я уже раз потерял. Когда на тебе женился.

Вера рассмеялась.

Присвоив себе его руку, она цацкалась с ней, как с куклой. Сама еще почти ребенок, а я-то с ней обо всем всерьез! И он нежно погладил ее.

Когда Михал уснул, Вера старалась побороть сон, чтобы продлить счастье. Где-то в глубине души она боялась, что Михал вдруг пропадет, растает, улечучится навсегда... И, не решаясь выпустить его руку, только крепче сжала ее.

Вдруг на нее повеяло холодом, она ушла под одеяло. С головой. Ужасно хотелось спать. Просто ужасно.

— Вера, ты слышишь, на улице минус двадцать.

— Ну, что тебе, медвежонок?

— Минус двадцать! Ты куда носки мои теплые задевала?

Все эти слова не имели для нее ровно никакого смысла, и она с легкостью пропустила их мимо ушей. Перевернувшись, она заняла еще не остывшее место Михала, забравшись под его одеяло. Какая же это была уютная ложбинка!

— Носки, Вера! — Сдернул он одеяло. — Носки шерстяные!

Она сощурила глаза.

— Носки-колготки, глазки-лапки... — пробурчала она беззлобно, засыпая.

— Какая же ты все-таки дура! — гаркнул Михал, вываливая на себя половину шкафа. — Тютя набитая, черт вас всех возьми!

В полусне Вера ждала, когда хлопнет дверь. Услышав привычный звук падающей штукатурки, она сладко свернулась в своей норке и опять уснула.

Негодующий Михал выскочил на улицу. Машина стояла, вся заваленная снегом, на окнах наледь — разве ее заведешь. Вдалеке виднелась целая вереница трамваев, в темноте светились их огни. У первого перегорел мотор. Диспетчер в мегафон предлагал воспользоваться автобусом.

Студеный ветер бил по ногам, Михалу казалось, что он голый. Я вот ей вечером вкачу, клялся он себе, едва выдерживая напор ледяного вихря, она у меня узнает, я ей так мозги проветрю, что в следующий раз птичкой божьей порхать будет...


На этом злость выкипела. На стекле трамвая была надпись: «Перевозка мороженных продуктов». Через толпу к нему протискивался приземистый крепыш:

— Во, какая сегодня хреновина, а? — сказал Роглена, — хорошо еще, что работаем в тепле.

«Как бы слишком жарко не было», — подумал Михал и вздрогнул. Так было перед первой в жизни сменой, сейчас он вместе со всеми спустится в неведомое. И страх был, и желание взглянуть, что там осталось, на старом месте.

Они вышли из автобуса и под ледяным ветром ускорили шаг. Снег скрипел под ногами, он уже утратил свою первозданную чистоту, успев покрыться серым налетом сажи. Метельное утро настойчиво пробивало пласты предрассветной тьмы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

жно с уверенностью сказать, что факт издания книги Яромиры Коларовой «Вода!» именно в дюнеком издательстве по-особому ценен и знаменателен для чехословацкой писательницы. Ведь чешское издание этой книги также впервые было осуществлено в «шахтерском» издательстве — в Острове.

Яромира Коларова хорошо знает своего читателя, знает, для кого она пишет и что хочет сказать. И появление такой книги, как «Вода!», основанной на реальных событиях из жизни шахтеров, книги, где поставлены крупные нравственные вопросы нашего времени, — для нее далеко не случайность. Все предыдущее ее творчество и жизнь дают ей на это право.

«Путевку в жизнь», а точнее — в литературу, дал Яромире Коларовой не кто иной как Юлиус Фучик. Эта история мало известна, но заслуживает того, чтоб ее рассказать.

Было это в 1938 году, когда Яромира Коларова, учась в восьмом классе гимназии, обратилась в редакцию «Творбы», которую возглавлял Ю. Фучик, с письмом. Оно касалось самоубийства одного студента и постановки в театре Э. Ф. Буриана «Страданий молодого Вертера». Дело в том, что молва связывала между собой эти два события. Как известно, в Германии в свое время возникла волна самоубийств, вызванных появлением романа Гете, и поэту пришлось даже предварить новое издание «Страданий молодого Вертера» стихотворными строками, призывавшими молодежь не идти по пути Вертера.

Разумеется, Яромиру Коларову испугало не то, что сто пятьдесят лет спустя в Чехословакии снова начнется эпидемия самоубийств. Она обращала внимание редактора на другое — на несвоевременную пессимистическую и духовно разоружающую трактовку Вертера в пражском театре.

Ведь это был 1938 год, Гитлер намеревался установить над Чехословакией протекторат, и в души людей проникали чувства тоски и безысходности. В своем письме Я. Коларова писала:

«Вертер, молодой человек, который, к сожалению, встретил бы немало своих двойников и сейчас (этим отчасти объясняется выбор пьесы), мучительно переживает

свое столкновение с миром, который кажется ему грубым. Он в толпе людей стоит перед плотиной, которая вот-вот прорвется. Но он не положит камень, чтобы преградить путь водному потоку, не станет убеждать остальных, ждущих от него спасения, что они сильны и могучи, а, закрыв глаза, обращается в бегство».

Молодая девушка решительно возражала против «психологии человека, стоящего вне общества и занятого только своими личными переживаниями», и высказывала опасения, не отказываются ли те деятели искусства, которые уходят в субъективную проблематику, от исполнения своего первейшего долга художника?

Юлиус Фучик, получив письмо Я. Коларовой (тогда у нее была другая фамилия), не только немедленно его опубликовал, но и написал свой ответ. Этот ответ так и назывался — «Ответ восьмикласснице». Он широко известен и несколько раз был опубликован на русском языке под названием «О Вертере» в театре Э. Ф. Буриана». Юлиус Фучик столь горячо поддержал высказанные молодой девушкой соображения, что в течение очень долгого времени и друзья, и исследователи творчества Фучика считали, что не только «Ответ восьмикласснице», но и само «Письмо восьмиклассницы» принадлежат его перу.

Это и была путевка в жизнь. И даже жизненная программа. Ведь если расценивать этот факт как-то иначе, то покажется почти невероятным, что сорок два года спустя, в 1980 году, Яромира Коларова опубликует роман «Вода!», где буквально вернется к метафоре, а точнее сказать, к мотиву прорванной плотины и сама нарисует яркую и убедительную картину *противостояния* — картину борьбы и сотрудничества людей, способных воспрепятствовать любому несчастью. В этой картине найдут место и пессимистические настроения некоторых героев, сомневающих в смысле жизни, и неадекватность их поведения в современном мире, и все то, что Я. Коларову волновало еще в ее девятнадцать лет.

И если мы сейчас стали бы искать эпитафию ко всему творчеству Яромиры Коларовой, мы должны были бы обратиться прежде всего к «Ответу восьмикласснице», где Юлиус Фучик поддерживает девушку в том, что «каждый человек должен найти свое место в сегодняшней борьбе» и каждый «должен всегда мужественно разрешать свои конфликты с действительностью».

Так с самого начала своего творческого пути и, собственно, даже еще до начала этого пути Яромира Коларова

избрала себе позицию ответственного отношения к жизни — позицию мужественности и борьбы.

В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Вопросы литературы» (№ 11 за 1981 г.), Я. Коларова пишет, как в детстве на нее произвел сильное впечатление один странный обычай, который ей не раз приходилось наблюдать в рабочем квартале, где она жила. Грязные и оборванные дети бросали камнями в распятие и, попав в металлического Христа, кричали, чтоб он дал им хлеба.

«Этого квартала уже нет,— пишет Я. Коларова,— но до сих пор мне слышатся удары и крики, и до сих пор мне не совсем ясно: действительно ли дети верили, что Христос ответит им на удар — хлебом, или же это было проявлением протеста. Эта странная мальчишеская игра заставила меня много размышлять о религии, вере, смирении, об отношениях добра и зла. Каждый день жизни все больше убеждал меня в том, что добро не может побеждать зло автоматически, что нападающий не выбьется из сил, если мы отступим или подставим ему лицо; у нас на пощечину отвечали пощечиной, на камень — камнем. Борьба и бунт мне были понятнее, чем смирение, мои убеждения определились навсегда — с самого начала я примкнула к притесняемым, голодным, эксплуатируемым».

Безусловно, этому во многом способствовала и семья. Отец писательницы был убежденным коммунистом, и весь их дом жил интересами, борьбой и надеждами рабочего класса.

К настоящему времени Я. Коларовой написано много. Она принадлежит к числу вечно ищущих авторов, старающихся зафиксировать как можно точнее реальную действительность и не ошибиться в передаче оттенков «пережитого».

Это — и романы, и повести — от самых серьезных, касающихся драматических сторон современной жизни («Только о делах семейных», 1965, «Мой мальчик и я», 1974, «Вода!», 1980) до самых, на первый взгляд, бесшабашных («По силам ли мужчинам пережить двухтысячный год?», 1982), а на самом деле представляющих острую сатиру на потребительский образ жизни.

Это пьесы, киносценарии, телевизионные постановки, отмеченные многими отечественными и международными премиями.

Это и детские книги, некоторые из которых переведены на русский язык, и книга очерков и репортажей «Страна будущего», написанная Я. Коларовой совместно с

ее мужем — публицистом Ф. Коларом — о Советском Союзе.

А в совокупности это десятки и сотни человеческих судеб, зафиксированные умным, добрым, справедливым человеком, всегда старающимся понять, что один человек может для другого сделать в современных условиях и что все должны сделать для всех.

У Я. Коларовой есть свой стиль, до некоторой степени сближающий ее произведения с художественно-документальными хрониками. В большинстве своих произведений Я. Коларова весьма охотно применяет прием «двойного времени», а иногда и «двустороннего видения», т. е. ведет повествование одновременно и в настоящем и в прошлом, или одновременно от имени двух героев (например, от имени матери и от имени сына в романе «Мой мальчик и я», причем оба рассказа идут от первого лица). Часто без этого она просто не может обойтись, не может устоять перед своими ассоциациями или личными воспоминаниями, даже если «вставки» мешают стройности повествования.

Этому есть только одно объяснение — верность самой себе, максимальное уточнение — для читателя — контекста и оттенков изображаемого. Главное для нее — убедительность концепции повествования, если мы будем рассуждать с точки зрения читателя, и бесконечно уточняющая себя честность мышления, если мы попытаемся охарактеризовать творческую лабораторию писательницы.

Когда мы читаем книги Яромиры Коларовой, то прежде всего поражаемся тому, что, пожалуй, нет таких серьезных событий и явлений в жизни современной Чехословакии, на которые так или иначе она бы не откликнулась в своих произведениях. Ей всегда нужно самой себе ответить на самые насущные вопросы времени, а потом они, хочет она того или нет, найдут свое место в ее произведениях. Именно отсюда эти бесконечные ретроспекции, вовлечение в повествование все новых и новых судеб, точек зрения, «фонов». Отсюда — и поиски новых жанров и форм. И чем серьезнее, трагичнее или сложнее событие, тем больше оно ее беспокоит.

«Я лишь на год моложе чехословацкого государства,— пишет писательница в уже упоминавшемся интервью «Вопросов литературы»,— и любое потрясение, любое изменение, любой успех и неудачу, любые трудности я испытала на себе».

Роман «Вода!» представляет собой до некоторой степени новое направление в творчестве Я. Коларовой и зани-

мает в нем особое место. Несмотря на то, что в предыдущих произведениях писательница нарисовала широкое полотно жизни Северо-Моравского края с охватом чуть ли не в столетие, рамки этих произведений в жанровом отношении оказались для нее узки. Стиль лирических свидетельств и впечатлений, проникнутых личной памятью писательницы, давал ей большие возможности для интересных наблюдений, ярких публицистических зарисовок и тонких психологических поворотов, но не позволял подняться до глобальных общественных обобщений.

В романе «Вода!» писательница по-новому, более лаконично и одновременно более масштабно подходит к главной теме своего творчества — теме героизма и силы человеческого содружества.

Когда на одной из остравских шахт в результате неожиданного прорыва воды случается катастрофа и бригада шахтеров оказывается в большой опасности, столь же неожиданно вскрываются нравственные резервы окружающих их людей. Роман показывает, как самые разные люди — и близкие, и совсем незнакомые, чехи и поляки, люди, занимающие самые разные посты на социалистическом предприятии, находящиеся в сложных и порой не особо дружеских отношениях, перед лицом опасности оказываются на большой высоте.

Вслед за Юлиусом Фучиком Яромира Коларова явно придерживается того взгляда, что «герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества».

Таким образом, можно сказать, что Я. Коларова создает картину массового героизма шахтеров. Но любая массовая картина складывается из мозаики отдельных элементов. И поэтому наряду с психологией масс, в данном случае — коллектива шахты, писательницу интересует и психология каждого отдельного участника этих событий. На протяжении романа она успевает во многих подробностях рассказать обо всех восьми шахтерах, находящихся в опасности, — Михале Колиге, Ярославле Стшалке, Роглене, Выметале, Комаре, Зденеке, старом Пёнтеке и Пицмаусе, а также и обо всех главных действующих лицах, принимающих участие в их спасении — директоре Гавлике, главном инженере Адамчике, двух бывших директора Кухте и Зайдлере, машинисте Германе, инспекторе Лишчаре, молодом шахтере Йожине и др. Кроме того, параллельно с этим в романе постоянно рассказывается о женах каждого из шахтеров, разных по возрасту, характеру и манерам; и

третьим планом дается биографическая предыстория большинства героев книги.

Михал из романа «Вода!» — герой без пафоса и рыцарь без страха и упрека. В нем есть подлинная сила, которую вольно или невольно чувствуют все окружающие и хотят на него опереться. Он тоже из числа тех людей, на которых «свет держится».

И все то хорошее, что он людям делает, для него столь естественно, что воспринимается как должное. Его поступки соответствуют его доброй натуре и высоким нравственным убеждениям. Но, употребив уже вторично выражение «высокие нравственные убеждения», мы уже слегка упрощаем этот образ, ибо эти убеждения у Михала непосредственно в крови; он действительно герой без пафоса и без огласки.

Когда Михал старается оказать воздействие на запойного пьяницу и драчуна Зденека, бывшего пражского студента, присланного на шахту «для перевоспитания», он меньше всего хочет, чтоб об этом кто-нибудь знал. Это помещало бы ему, и ничья самая высокая похвала по этому поводу ничего не прибавила бы к его радостям. Михал постоянно держит Зденека в поле зрения и помогает ему только потому, что может это сделать наилучшим образом, потому что Зденек по-человечески к нему тянется и объективно нуждается в его направляющем влиянии.

А почему Михал еще в детстве отказался войти в богатый дом своего родного отца и тем самым от возможности получить немалое наследство? От возобладавшего в нем чувства справедливости и жалости к одинокой матери.

Поэтому можно сказать, что любимые герои Коларовой — это герои не столь нравственного долга, сколь нравственного чувства, что она ценит еще выше.

Итак, роман «Вода!» — это роман о простых героях и скромном героизме.

Но можно было бы представить его содержание и проблематику и совсем с другого конца. Существует шахта, где всегда не хватает людей и где привлекаются для работы не только шахтеры-профессионалы, но и так называемые «вербованные», то есть люди, рассматривающие шахтерский труд в качестве высокого временного заработка. Как правило, эти «вербованные» — сущее наказание для каждой шахтерской бригады, они не умеют ни как следует работать, ни вести себя. Чистоган определяет все их помыслы. Есть такой человек и в бригаде Ярослава Стшалки. Это некий Пицмаус — никчемный, маленький, дохленький, но

ужасно жадный и охочий до денег мужичонка. Однажды, когда бригада случайно наталкивается на пласт, в котором едва виден маленький ручеек, все реагируют как надо: приостанавливают работу и посылают молодого шахтера Йожина за инженером. И только один Пицмаус не хочет «зря терять время». Он суетится около ручейка, поддевает лопатой слой угля и — вызывает катастрофу: в шахту рекой устремляется вода.

В результате погибают и невольный виновник катастрофы — Пицмаус и еще двое шахтеров.

Если бы Пицмаус оказался более сдержанным и дисциплинированным, возможно, беды и не произошло бы, шахтеры дождались бы инженера и были бы приняты меры, необходимые для спасения людей и шахты. Но в коллективе, как в хорошо слаженном механизме, одно звено оказалось испорченным. И, таким образом, возникла опасность для всех.

В дальнейшем мы постараемся рассмотреть роман «Вода!» как современную притчу. А пока зададимся вопросом, почему это звено оказалось «испорченным»? Дает ли возможность материал романа ответить на это однозначно?

Да, дает. Ненавязчиво, не подчеркнуто, но в романе все-таки говорится о том, что именно заставляло Пицмауса проявлять поспешность в работе и гнаться за длинным рублем. Оказывается, он строил дом и не смог умерить аппетитов своей семьи. Обе его некрасивые и незамужние дочери хотели иметь свои «половины», и отец должен был на шахте побыстрее заработать по меньшей мере на три кафельные ванны и три уборные.

Вот эта «нужда» в трех уборных и оказалась, в конечном счете, той пружиной, которая заставила Пицмауса ковырнуть лишний раз пласт, то есть стала последней фактической причиной трагических событий на шахте.

Таким образом, обозначились два полюса романа, которые создают в нем основное поле напряженности. Это, с одной стороны, — человеческая солидарность и героизм (линия Михала, Стшалки, деда Пёнтека и др.) и мещанский эгоцентризм (линия Пицмауса).

Но в отличие от других романов Я. Коларовой, мещанство представляют в «Воде» не столь отдельные персонажи (как, например, Моника в повести «Только о делах семейных»), сколь неизжитые тенденции в повседневном образе жизни.

Это для Коларовой теперь важнее. Ведь часто бывает

трудно провести грань и ответить, где кончается вполне законное в нравственном отношении стремление к благополучию и где начинается разлагающее душу мещанство.

Казалось бы, ну что особо страшного в том, что Пицмаус хочет обеспечить обеих своих дочерей современно оборудованным жильем? Что в этом сугубо мещанского? Ведь он и его жена, прежде всего, работяги.

Что особо аморального в том, что пятнадцатилетняя дочь директора шахты Гавлика ходит в танцевальный класс в платье стоимостью в две тысячи крон? Ведь не на краденое же было куплено это платье.

И все-таки все эти, по меньшей мере, несдержанности оказываются (или могут оказаться) причиной многих серьезных неприятностей.

Можно ли назвать роман «Вода!» современной притчей о добре и зле, о бескорыстии и эгоизме? И да, и нет. Нельзя, потому что в притчах сюжет обычно сам по себе условен и мало ценен, ибо главное в притче опять же не реалистическое изображение жизни, а сам вывод, мораль. И можно так назвать потому, что притча имеет, как правило, символический смысл. Для Я. Коларовой же это очень важно, потому что она придает своему роману в определенной степени именно символический смысл. Вот что она пишет:

«Своей книгой мне хотелось сказать, что человек никогда не бывает одинок, даже если он сам в этом убежден, всегда найдутся люди, готовые и способные прийти на помощь...»

Роман «Вода!», конечно, не столь притча с ее обязательным, поучительным и готовым выводом, сколь материал для размышлений — писателя совместно с читателем, — размышлений о том, что каждому человеку должно быть присуще мужество активного участия в жизни.

Н. НИКОЛАЕВА